

## Марина Цветаева. Нездешний вечер

Над Петербургом стояла вьюга. Именно – стояла: как кружащийся волчок – или кружащийся ребенок – или пожар. Белая сила – уносила.

Унесла она из памяти и улицу и дом, а меня донесла – поставила и оставила – прямо посреди залы – размеров вокзальных, бальных, музейных, сновиденных.

Так, из вьюги в залу, из белой пустыни вьюги – в желтую пустыню залы, без промежуточных инстанций подъездов и вводных предложений слуг.

И вот, с конца залы, далекой – как в обратную сторону бинокля, огромные – как в настоящую его сторону – во весь глаз воображаемого бинокля – глаза.

Над Петербургом стояла вьюга и в этой вьюге – неподвижно как две планеты – стояли глаза.

---

Стояли? Нет, шли. Завороженная, не замечаю, что сопутствующее им тело тронулось, и осознаю это только по безумной рези в глазах, точно мне в глазницы вогнали весь бинокль, краем в край.

С того конца залы – неподвижно как две планеты – на меня шли глаза.

Глаза были – здесь.

Передо мной стоял – Кузмин.

---

Глаза – и больше ничего. Глаза – и все остальное. Этого остального было мало: почти ничего.

---

Но голос не был здесь. Голос точно не поспел за глазами, голос шел еще с того конца залы – и жизни, – а, может быть, я, поглощенная глазами, не попевала? – первое чувство от этого голоса: со мной говорит человек – через реку, а я, как во сне, все-таки слышу, как во сне – потому что это нужно – все-таки слышу.

...Мы все читали ваши стихи в “Северных Записках”. Это была такая радость. Когда видишь новое имя, думаешь: еще стихи, вообще стихи, устное изложение чувств. И большею частью – чужих. Или слова – чужие. А тут сразу, с первой строки – свое, сила. “Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!”. И это мы почувствовали – все.

– А я пятнадцати лет читала ваше “Зарыта шпагой – не лопатой – Манон Леско!”. Даже не читала, мне это говорил наизусть мой вроде как жених, за которого я потом не вышла замуж, именно потому, что он был – лопата: и борода лопатой, и вообще...

Кузмин, испуганно:

– Бо-ро-да? Бородатый жених?

Я, сознавая, что пугаю:

– Лопатный квадрат, оклад, а из оклада бессовестно-честные голубые глаза. Да. И когда я от него же узнала, что есть такие, которых зарывают шпагой, такие, которые зарывают шпагой. – “А меня лопатой – ну нет!”... И какой в этом восхитительный, всего старого мира – вызов, всего того века – формула: “Зарыта Шпагой – не лопатой – Манон Леско!”. Ведь все ради этой строки написано?

– Как всякие стихи – ради последней строки.

– Которая приходит первой.

– О, вы и это знаете!

---

О Кузмине в Москве шли легенды. О каждом поэте идут легенды, и слагают их все та же зависть и злостность. Припев к слову Кузмин был “жеманный, мазанный”.

Жеманности не было: было природное изящество чужой особи, особое изящество костяка (ведь и скелет неравен скелету, не только души!), был отлетающий мизинец чаепития – так в XVIII веке держал шоколадную чашку освободитель Америки Лафайет, так в Консьержерии из оловянной кружки пил наимужественнейший поэт Андрей Шенье – были, кроме личного изящества костяка – физическая традиция, физический пережиток, “манерность” – рожденная.

*Была – севрская чашка.*

Был в Петербурге XX века – француз с Мартиники – XVIII-го.

О “мази” же. Мазь – была. Ровная, прочная, темно-коричневая, маврова, мулатова, Господо-Богова. Только не “намазан” был, а – вымазан, и даже – выварен: в адовом ли кофе лирической бессонницы, в ореховом ли настое всех сказок, в наследственной ли чужеземной прикрови – не знаю. Знаю только, что ровнее и коричневее, коричневее – и ровнее – и роднее – я краски *на лице* не видела. Разве на лице нашего шоколадного дома в Трехпрудном.

Но из этого кофейного цыганского навара, загара, идет на меня другое родное сияние: серебро. Костюм был серебряный, окружение сновиденно-невесомых и сновиденно-свободных движений было – серебряное, рукав, из которого цыганская рука – серебряный. А может, и серебряным-то был (простой серый скучный) рукав – от цыганства руки? А может быть – от серебряного Петербурга – серебро? Так или иначе – в два цвета, в две краски – ореховую и серебряную – и третьей не было. Но что было – кольца. Не ручные (наперстные), если и были – не помню и не о них говорю, и не ушные – хотя к этому лицу пристали бы как припаянные, были – волосяные. С гладкой небольшой драгоценной головы, от уха к виску, два волосяных начеса, дававших на висках по полукольцу, почти кольцу – как у Кармен или у Тучкова IV, или у человека, застигнутого бурей.

Вот он закурил папиросу, и ореховое лицо его с малиновой змейкой улыбки – как сквозь голубую завесу... (А где-то завеса – дымовая. Январь 1916 года. Война.)

Занеся голову на низкую спинку дивана и природно, как лань, красуюсь... Но вдруг красованию конец:

– Вы, вы меня простите... Я все время здесь кого-то видел – и я его не вижу – уже не вижу – он только что был – я его видел – а теперь...

Исчезновение видения.

---

– Как вам понравился Михаил Алексеевич? – мне – молодой хозяин, верней – один из молодых хозяев, потому что их – двое: Сережа и Леня. Леня – поэт, Сережа – путешественник, и дружу я с Сережей. Леня – поэтичен, Сережа – нет, и дружу я с Сережей. Сереже я рассказываю про свою маленькую дочь, оставшуюся в Москве (первое расставание) и которой я, как купец в сказке, обещала привезти красные башмаки, а он мне – про верблюдов своих пустынь. Леня для меня слишком хрупок, нежен... цветок. Старинный томик “Медного всадника” держит в руке – как цветок, слегка отставив руку – саму, как цветок. Что можно сделать такими руками?

Кроме того, я Лене явно должна не нравиться – он все время равняет меня, мою простоту и прямоту, по ахматовскому (тогда!) излому – и все не сходится, а Сережа меня ни по чему не равняет – и все сходится, то есть сошлись – он и я – с первой минуты: на его пустыне и моей дочери, на самом любимом.

Леню чисто физически должен раздражать мой московский говор: – спасибо – ладно – такое, которое он неизменно отмечает: “Настоящая москвичка!” – что меня уже начинает злить и уже заставляет эту московскость – усиливать, так что с Леней, гладкоголовым,

точным, точеным – я, вьющаяся в скобку, со своим “пуще” и “гуще” – немножко вроде московского ямщика. Сейчас мы с Сережей ушли в кабинет его отца и там беседуем.

– Как вам нравится Кузмин?

– Лучше нельзя: проще нельзя.

– Ну, это для Кузмина – редкий комплимент...

Сажу на шкуру белого медведя, он стоит.

– А, так вот вы где? – важный пожилой голос. Отец Сережи и Лени, известный строитель знаменитого броненосца – высокий, важный, иронический, ласковый, неотразимый – которого про себя зову – лорд.

– Почему поэты и поэтессы всегда садятся на пол? Разве это удобно? Мне кажется, в кресле гораздо приятнее...

– Так ближе к огню. И к медведю.

– Но медведь – белый, а платье – темное: вы вся будете в волосах.

– Если вам неприятно, что я сажу на полу, то я могу сесть на стул! – я, уже жестким голосом и с уже жаркими от близких слез глазами (Сережа, укоризненно: “Ах, папа!..”).

– Что вы! Что вы! Я очень рад, если вам так – приятно... (Пауза.) И по этой шкуре же все ходят...

–Crime de lese-Majeste! То же самое, что ходить по лилиям.

– Когда вы достаточно изъясните ему свое сочувствие, мы пройдем в гостиную и вы нам почитаете. Вас очень хочет видеть Есенин – он только что приехал. А вы знаете, что сейчас произошло? Но это несколько... вольно. Вы не рассердитесь?

Испуганно молчу.

– Не бойтесь, это просто – смешной случай. Я только что вернулся домой, вхожу в гостиную и вижу на банкетке – посреди комнаты – вы с Леной, обнявшись.

Я:

– Что-о-о?!

Он, невозмутимо:

– Да, обняв друг друга за плечи и сдвинув головы: Ленин черный затылок и ваш светлый, кудрявый. Много я видел поэтов – и поэтесс – но все же, признаться, удивился...

Я:

– Это был Есенин!

– Да, это был Есенин, что я и выяснил, обогнув банкетку. У вас совершенно одинаковые затылки.

– Да, но Есенин в голубой рубашке, а я...

– Этого, признаться, я не разглядел, да из-за волос и рук ничего и видно не было.

---

Леня. Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в столь разительно-разных лицах их сошлись, слились две расы, два класса, два мира. Сошлись – через все и вся – поэты.

Леня ездил к Есенину в деревню, Есенин в Петербурге от Лени не выходил. Так и вижу их две сдвинутые головы – на гостиную банкетку, в хорошую мальчишескую обнимку, сразу превращавшую банкетку в школьную парту. (Мысленно и медленно обхожу ее) Ленина черная головная гладь. Есенинская сплошная кудря, курча. Есенинские васильки, Ленины карие миндалины. Приятно, когда обратно – и так близко. Удовлетворение, как от редкой и полной рифмы.

После Лени осталась книжечка стихов – таких простых, что у меня сердце сжалось, как я ничего не поняла в этом эстете, как этой внешности – поверила.

---

Сию в той желтой зальной – может быть, от Серезиных верблюдов – пустыне и читаю стихи, не читаю – говорю наизусть. Читать по тетрадке я стала только, когда перестала их знать наизусть, а знать перестала, когда говорить перестала, а говорить перестала – когда просить перестали, а просить перестали с 1922 года – моего отъезда из России. Из мира, где мои стихи кому-то нужны были, как хлеб, я попала в мир, где стихи – никому не нужны, ни мои стихи, ни вообще стихи, нужны – как десерт: если десерт кому-нибудь – нужен...

---

Читаю в первую голову свою боевую Германию:

Ты миру отдана на травлю,  
И счета нет твоим врагам.  
Ну, как же я тебя оставлю?  
Ну, как же я тебя предам?  
И где возьму благоразумье  
“За око – око, кровь – за кровь”?  
Германия, мое безумье!  
Германия, моя любовь!  
Ну как же я тебя отвергну,  
Мой столь гонимый Vaterland,  
Где все еще по Кенигсбергу  
Проходит узколиций Кант  
Где Фауста нового лелея  
В другом забытом городке –  
Geheimrat Goete по аллее  
Проходит с веточкой в руке.  
Ну как же я тебя отрину,  
Моя германская звезда,  
Когда любить наполовину  
Я не научена, когда  
От песенок твоих в восторге  
Не слышу лейтенантских шпор,  
Когда мне свят Святой Георгий  
Во Фрейбурге, на Schwabentor,  
Когда меня не душит злоба  
На Кайзера взлетевший ус,-  
Когда в влюбленности до гроба  
Тебе, Германия, клянусь!  
Нет ни волшебней, ни премудрей  
Тебя, благоуханный край,  
Где чешет золотые кудри  
Над вечным Рейном – Лорелей.

Эти стихи Германии – мой первый ответ на войну. В Москве эти стихи успеха не имеют, имеют обратный успех. Но здесь, – чувствую – попадают в точку, в единственную цель всех стихов – сердце. Вот самое серьезное из возражений:

– Волшебный, премудрый – да, я бы только не сказал – благоуханный: благоуханны – Италия, Сицилия...

– А – липы? А – елки Шварцвальда? О Tannenbaum, о Tannenbaum! \* А целая область – Harz, потому что Harz – смола. А слово Harz, в котором уже треск сосны под солнцем...

---

\* О ель! (нем.)

– Bravo, bravo, М. И., это называется – защита!  
Читаю еще:

Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!  
Не надо людям с людьми на земле бороться!  
Смотрите вечер! Смотрите уж скоро ночь!  
О чем – поэты, любовники, полководцы?  
Уж ветер стелется, уже земля в росе,  
Уж скоро звездная в небе застынет вьюга,  
И под землею скоро уснем мы все,  
Кто на земле не давали уснуть друг другу.

Читаю весь свой стихотворный 1915 год – а все мало, а все – еще хотят. Ясно чувствую, что читаю от лица Москвы и что этим лицом в грязь – не ударяю, что возношу его на уровень лица – ахматовского. Ахматова! – Слово сказано. Всем своим существом чую напряженное – неизбежное – при каждой моей строке – сравнение нас (а в ком и – стравливание): не только Ахматовой и меня, а петербургской поэзии и московской, Петербурга и Москвы. Но, если некоторые ахматовские ревнители меня против меня слушают, то я-то читаю не против Ахматовой, а – к Ахматовой. Читаю, – как если бы в комнате была Ахматова, одна Ахматова. Читаю для отсутствующей Ахматовой. Мне мой успех нужен, как прямой провод к Ахматовой. И если я в данную минуту хочу явить собой Москву – лучше нельзя, то не для того, чтобы Петербург – победить, а для того, чтобы эту Москву – Петербургу – подарить, Ахматовой эту Москву в себе, в своей любви, подарить, перед Ахматовой – преклонить. Поклониться ей самой Поклонной Горой с самой непоклонной из голов на вершине.

Что я и сделала, в июне 1916 года, простыми словами:

В певучем граде моем купола горят,  
И Спаса Светлого славит слепец бродячий,  
И я дарю тебе свой колокольный град –  
Ахматова! – и сердце свое в придачу.

Чтобы все сказать: последовавшими за моим петербургским приездом стихами о Москве я обязана Ахматовой, своей любви к ней, своему желанию ей подарить что-то вечнее любви, то подарить – что вечнее любви. Если бы я могла просто подарить ей – Кремль, я бы наверное этих стихов не написала. Так что соревнование, в каком-то смысле, у меня с Ахматовой – было, но не “сделать лучше нее”, а – лучше нельзя, и это лучше нельзя – положить к ногам. Соревнование? Рвение. Знаю, что Ахматова потом в 1916-17 году с моими рукописными стихами к ней не расставалась и до того доносила их в сумочке, что одни складки и трещины остались. Этот рассказ Осипа Мандельштама – одна из самых моих больших радостей за жизнь.

Потом – читают все. Есенин читает Марфу Посадницу, принятую Горьким в “Летопись” и запрещенную цензурой. Помню сизые тучи голубей и черную – народного

гнева. – “Как Московский царь – на кровавой гульбе – продал душу свою – Антихристу”...  
Слушаю всеми корнями волос. Неужели этот херувим, это Milchgesicht\*, это оперное  
“Отоприте! Отоприте!” – *этот – это* написал? – почувствовал? (С Есениным я никогда не  
перестала этому дивиться.) Потом частушки под гармонику, с точно из короба, точно из ее  
кузова сыплющимся горохом говорка -

Играй, играй, гармонь моя!  
Сегодня тихая заря,  
Сегодня тихая заря, -  
Услышит милая моя.

---

\* Мальчишка, молокосос (нем.)

Осип Манделъштам, полузакрыв верблюжьи глаза, вещает.

Поедем в Ца-арское Се-ело,  
Свободны, веселы и пьяны,  
Там улыбаются уланы,  
Вскочив на крепкое седло.

*Пьяны* ему цензура переменяла на *рьяны*, ибо в Царском Селе пьяных уланов не  
бывает – только рьяные!

Критик Григорий Ландау читает свои афоризмы. И еще другой критик, которого  
зовут Луарсаб Николаевич. Помню из читавших еще Константина Ландау из-за его  
категорического обо мне, потом, отзыва – Ахматовой. Ахматова: “Какая она?” – “О,  
замечательная!” Ахматова, нетерпеливо: “Но можно в нее влюбиться??” – “Нельзя не  
влюбиться”. (Понимающие мою любовь к Ахматовой – поймут.)

Читают Леня, Иванов, Оцуп, Ивнев, кажется – Городецкий. Многих – забыла. Но  
знаю, что читал весь Петербург, кроме Ахматовой, которая была в Крыму, и Гумилева – на  
войне.

Читал *весь* Петербург и *одна* Москва.

...А вьюга за огромными окнами недвижно бушует. А время летит. А мне, кажется,  
пора домой, потому что больна моя милейшая хозяйка, редакторша “Северных Записок”,  
которая и выводит меня в свет: сначала на свет страниц журналов (первого, в котором я  
печатаюсь), а сейчас – на свет этих люстр и лиц.

Софья Исааковна Чайкина и Яков Львович Сакер, так полюбившие мои стихи,  
полюбившие и принявшие меня как родную, подарившие мне три тома Афанасьевских  
сказок и двух рыжих лисиц (одну – лежачую круговую, другую – стоячую: гонораров я не  
хотела) – и духи *Jasmin de Corse* – почтить мою любовь к Корсиканцу, – возившие меня в  
Петербурге на острова, в Москве к цыганам, все минуты нашей совместности меня  
праздновавшие.

Софья Исааковна Чайкина и Яков Львович Сакер, спасибо за праздник – у меня его  
было мало.

Дом <Северных Записок> был дивный дом – сплошной нездешний вечер. Стены  
книг, с только по верхам приметными темно- синими дорожками обоев, точно вырезанными  
из ночного неба, белые медведи на полу, день и ночь камин, и день и ночь стихи, особенно –  
“ночь”. Два часа. Звонок по телефону: “К вам не поздно?” – “Конечно, нет! Мы как раз  
читаем стихи”. – Это “как раз” было – всегда.

Так к ней тороплюсь, к Софье Исааковне, которая, наверное, с нетерпением ждет меня – услышать про мой (а этим и свой) успех.

– Михаил Алексеевич! Умоляю – почитайте сейчас! А то мне – уходить.

Певуче:

– Куда-а?

Объясняю.

Он, не слушая:

– За-че-ем? Здесь хорошо. Здесь очень хорошо. Нам всем – давно пора уходить.

(О как мы скоро потом – *все ушли!* В ту самую вьюгу, нас грозно и верно стерегшую...)

Продолжаю умолять.

Он:

– Я прочту – последнее. (Начало о зеркалах. Потом:)

Вы так близки мне, так родны,  
Что, будто, вы и не любимы.  
Должно быть, так же холодны  
В раю – друг к другу – серафимы...

И вольно я вздыхаю вновь.

Я – детски! – верю в совершенство.

Быть может...это не любовь...

Но так... (непомерная пауза и – mit Nachdruck\* всего существа!)  
\* Порыв (нем.)

– похоже – (почти без голоса) ...на блаженство...

Стихи, собственно, кончаются здесь, но как в жизни, вторым прощанием:

А ваша синяя тетрадь  
С стихами... было все – так ново!  
И понял я, что, вот – страдать –  
И значит – полюбить другого.

Незабвенное на *похоже* и *так* ударение, это было именно так похоже... на блаженство! Так только дети говорят: *так* хочется! Так от всей души – и груди. Так нестерпимо-безоружно и обнаженно и даже кровоточаще среди всех – одетых и бронированных.

Кузминского пеня я не дождалась, ушла, верная обещающую. Теперь – жалею. (Жалела уже тогда, жалела и уходя, жалела и выйдя – и дойдя – и войдя. Тем более что моя больная, не дождавшись меня, то есть не поверив обещающую, которое я сдержала,- спокойно спала, и жертва, как все, была напрасной.)

Все:

– Но Михаил Алексеевич еще будет читать!

Я, твердо:

– Но я обещала!

– Но Михаил Алексеевич, может быть, будет петь!

Я, жалобно:

– Но я обещала!

Подходит мой милый верблужий Сережа. Подходит сам Кузмин, чье присутствие я весь вечер непрерывно всеминутно неослабно на себе, как определенное давление, чувствовала.

– Останьтесь же, вы так мало побыли! (И последний невинный неотразимый довод:) Я, может быть, буду петь.

(Шепот и волнение голов, как ржи под ветром: “Будет петь... Будет петь... Будет петь...”).

– Но разве можно уйти после первой песни? Я тогда просто не уйду – никогда. Потому – ухожу сейчас.

– Какая вы, однако, твердая! – восхищенно и немного ошельмованно – Кузмин.

– Ein Mann – ein Wort!

– Но вы ведь – Frau!

– Нет! Mensch! Mensch! Mensch!\*

\*

“Человек – слово!” “Но вы ведь – женщина!” – “Нет! Человек! Человек! Человек!” (нем.)

Последнее, что помню – последним оборотом головы – Кузмина, уже подходящего к роялю.

---

И все они умерли, умерли, умерли...

Умерли братья: Сережа и Леня, умерли друзья: Леня и Есенин, умерли мои дорогие редакторы “Северных Записок”, Софья Исааковна и Яков Львович, умер позже всех, в Варшаве, – Лорд, и теперь умер Кузмин.

Остальные – тени.

---

Кузмина я больше не видала. Но встреча с ним у меня еще была. Вот конец моего письма к нему, в июне 1921 года, письма, сгоряча написанного к себе в тетрадку и потому уцелевшего.

(Первая половина письма – живописание ему нашей встречи, только что читателем прочитанной.)

... “Вхожу в Лавку писателей, единственный слабый источник моего существования. Робко, кассирше: “Вы не знаете, как идут мои книжки?” (Переписываю стихи, сшиваю в тетрадки и продаю. Это у нас называется – преодолевать Гутенберга\*.) Пока она осведомляется, я, *pour me donner une contenance*\*\* перелистываю книги на прилавке. Кузмин. “Нездешние вечера”. Раскрываю: копьем в сердце – Георгий! Белый Георгий! *Мой* Георгий, которого пишу уже два месяца – житие. Ревность и радость, двойное острие, читаю – радость растет, кончаю – змей ревности пронзен, пригвожден. Встает из глубины памяти моя встреча.

---

\* Слово, принадлежащее Б. К. Зайцеву (примеч. М. Цветаевой).

\*\*Чтобы занять себя (фр.)

Открываю дальше: Пушкин – *мой* Пушкин, то, что всегда говорю о нем – я. И, третье – Гете, *мой* Гете, мой, с шестнадцати лет, Гете – старый! тайный! – тот, о ком говорю, судя современность: “Перед лицом Гете...”

Прочла только эти три стиха. Ушла, унося боль, радость, восторг, – все, кроме книжки, которую не могла купить, так как ничто мое не продалось. И чувство: – раз есть еще такие стихи...

Что мне еще остается сказать Вам, кроме:

– Вы так близки мне, так родны...

Внешний повод, дорогой Михаил Алексеевич, к этому моему письму – привет, переданный мне госпожой Волковой”.

---

А вот – те глаза:

Два зарева! – нет, зеркала!

Нет – два недуга!

Два вулканических жерла,

Два черных круга

Обугленных – из льда зеркал,

С плит тротуарных

Через тысячеверстья зал –

Дымят – полярных.

Ужасные! Пламень и мрак!

Две черных ямы.

Бессонные мальчишки – так –

В больницах: – Мама! –

Страх и укор, ах и аминь...

Взмах величавый –

Над каменностью простынь –

Две черных славы.

Так знайте же, что реки – вспять!

Что камни – помнят!

Что уж опять они, опять

В лучах огромных

Встают – два солнца, два жерла,

Нет – два алмаза –

Подземной бездны зеркала:

Два смертных глаза.

(Написано и отослано ему в июне 1921 года с письмом.)

---

Я эту вещь назвала “Нездешний вечер”.

Начало января 1916 года, начало последнего года старого мира. Разгар войны. Темные силы.

Сидели и читали стихи. Последние стихи на последних шкурах у последних каминов. Никем за весь вечер не было произнесено слово фронт, не было произнесено – в таком близком физическом соседстве – имя Распутин.

Завтра же Сережа и Леня кончали жизнь, послезавтра уже Софья Исааковна Чайкина бродила по Москве, как тень ища приюта, и коченела – она, которой всех каминов было мало, у московских привиденских печек.

Завтра Ахматова теряла *всех*. Гумилев – жизнь.

Но сегодня вечер был наш!

Пир во время Чумы? *Да*. Но те пировали – вином и розами, мы же – бесплотно, чудесно, как чистые духи – уже призраки Аида – словами: *звучом* слов и живой кровью чувств.

Раскаиваюсь? Нет. Единственная обязанность на земле человека – правда всего существа. Я бы в тот вечер, честно, руку на сердце положа, весь Петербург и всю Москву бы отдала за кузьминское: “так похоже... на блаженство”, само блаженство бы отдала за “так похоже”... Одни душу продают – за розовые щеки, другие душу отдают – за небесные звуки.

И – все заплатили. Сережа и Леня – жизнью, Гумилев – жизнью, Есенин – жизнью, Кузмин, Ахматова, я – пожизненным заключением в самих себе, в этой крепости – вернее Петропавловской.

И как бы ни побеждали *здесь* утра и вечера, и как бы по-разному – всеисторически или бесшумно – мы, участники того нездешнего вечера, ни умирали – последним звучанием наших уст было и будет:

И звуков небес заменить не могли  
Ей скучные песни земли.

1936

## **Кузмин Михаил Алексеевич**

Надпись на книге

*Н. С. Гумилеву*

Манон Леско, влюбленный завсегда  
Твоих времен, я мыслю крылатой  
Искал вотще исчезнувших забав,  
И образ твой, прелестен и лукав,  
Меня водил, — изменчивый вожатый.

И с грацией манерно-угловатой  
Сказала ты: “Пойми любви устав,  
Прочтя роман, где ясен милый нрав  
Манон Леско:

От первых слов в таверне вороватой  
Прошла верна, то нищей, то богатой,  
До той поры, когда, без сил упав  
В песок чужой, вдали родимых трав,  
Была зарыта шпагой, не лопатой  
Манон Леско!”

*1909. Август*

## **Марина Цветаева**

\* \* \*

Кавалер де Гризэ! – Напрасно  
Вы мечтаете о прекрасной,  
Самовластной – в себе не властной –  
Сладострастной своей Манон.

Вереницею вольной, томной  
Мы выходим из ваших комнат.  
Дольше вечера нас не помнят.  
Покоритесь, – таков закон.

Мы приходим из ночи вьюжной,  
Нам от вас ничего не нужно,  
Кроме ужина – и жемчужин,  
Да быть может еще – души!

Долг и честь. Кавалер, – условность.  
Дай Вам Бог целый полк любовниц!  
Изъявляя при сем готовность...  
Страстно любящая Вас  
– М.

*31 декабря 1917*

## Осип Мандельштам

Царское село

*Георгию Иванову*

Поедем в Царское Село!  
Свободны, ветрены и пьяны,  
Там улыбаются уланы,  
Вскочив на крепкое седло...  
Поедем в Царское Село!

Казармы, парки и дворцы,  
А на деревьях – клочья ваты,  
И грянут “здравия” раскаты  
На крик – “здорово, молодцы!”  
Казармы, парки и дворцы...

Одноэтажные дома,  
Где однодумы-генералы  
Свой коротают век усталый,  
Читая “Ниву” и Дюма...  
Особняки – а не дома!

Свист паровоза... Едет князь.  
В стеклянном павильоне свита!..  
И, саблю волоча сердито,  
Выходит офицер, кичась,–  
Не сомневаюсь – это князь...

И возвращается домой –  
Конечно, в царство этикета –  
Внушая тайный страх, карета  
С мощами фрейлины седой,  
Что возвращается домой...

1912, 1927(?)

## Сергей Есенин

### МАРФА ПОСАДНИЦА

1

Не сестра месяца из темного болота  
В жемчуге кокошник в небо запрокинула, –  
Ой, как выходила Марфа за ворота,  
Письменище черное из дулейки вынула.

Расколосся зыками колокол на вече,  
Замахали кружевом полотнища зорние;  
Услыхали ангелы голос человеческий,  
Отворили наскоро окна-ставни горние.

Возговóрит Марфа голосом серебряно:  
“Ой ли, внуки Васькины, правнуки Микулы!  
Грамотой московскою извольно повелено  
Выгомонить вольницы бражные загулы!”

Заходила буйница выхвали старинной,  
Бороды, как молнии, выпячили грозно:  
“Что нам Московия – как поставник блинный!  
Там бояр-те жены хлыстают загозно!”

Марфа на крылечко праву ножку кинула,  
Левой помахала каблучком сафьяновым.  
“Быть так, – кротко молвила, черны брови сдвинула, –  
Не ручьи – брызгатели выцветням росяновым...”

2

Не чернец беседует с Господом в затворе -  
Царь московский антихриста вызывает:  
“Ой, Виельзевуле, горе мое, горе,  
Новгород мне вольный ног не лобызает!”

Вылез из запечья сатана гадюкой,  
В пучеглазых бельмах исчаведье ада.  
“Побожися душу выдать мне порукой,  
Иначе не будет с Новгородом слада!”

Вынул он бумаги – облака клок,  
Дал ему перо – от молнии стрелу.  
Чиркнул царь кинжалищем локоток,  
Расчеркнулся и зажал руку в полу.

Зарычит антихрист зёмным гудом:  
“А и сроку тебе, царь, даю четыреста лет!”

Как пойдет на Москву заморский Иуда,  
Тут тебе с Новгородом и сладу нет!”

“А откуда гроза, когда ветер шумит?” –  
Задаёт ему царь хитро́й спрос.  
Говорит сатана зыком черных згит:  
“Этот ответ с собой ветер унес...”

3

На соборах Кремля колокола заплакали,  
Собирались стрельцы из дальних слобод;  
Кони ржали, сабли звякали,  
Глас приказный чинно слухал народ.

Закраснели хоругви, образа засверкали,  
Царь пожаловал бочку с вином.  
Бабы подолами слезы утирали, –  
Кто-то воротится невредим в дом?

Пошли стрельцы, запылили по́ полю:  
“Берегись ты теперь, гордый Новоград!”  
Пики тенькали, кони топали, –  
Никто не пожалел и не обернулся назад.

Возговóрит царь жене своей:  
“А и будет пир на красной браге!  
Послал я сватать неучтивых семей,  
Всем подушки голов расстелю в овраге”.

“Государь ты мой, – шомонит жена, –  
Моему ль уму судить суд тебе!..  
Тебе власть дана, тебе воля дана,  
Ты челом лишь бьешь одной судьбе...”

4

В зарукавнике Марфа Богу молилась,  
Рукавом горячи слезы утирала;  
За окошко она наклонилась,  
Голубей к себе на колени сзывала.

“Уж вы, голуби, слуги Боговы,  
Солетайте-ко в райский терем,  
Вертайтесь в земное логово,  
Стучитесь к новоградским дверям!”

Приносили голуби от Бога письмо,  
Золотыми письменами рубленное;  
Села Марфа за расшитую тесьмой:

“Уж ты, счастье ль мое загубленное!”

И писал Господь своей верной рабе:  
“Не гони метлой тучу вихристу;  
Как московский царь на кровавой гульбе  
Продал душу свою антихристу...”

5

А и минуло теперь четыреста лет.  
Не пора ли нам, ребята, взяться за ум,  
Исполнить святой Марфин завет:  
Заглушить удалью московский шум?

А пойдёмте, бойцы, ловить кречетов,  
Отошлем дикомытя с потребою царю:  
Чтобы дал нам царь ответ в сечи той,  
Чтоб не застил он новгородскую зарю.

Ты шуми, певунный Волохов, шуми,  
Разбуди Садко с Буслаем на-торгаш!  
Выше, выше, вихорь, тучи подыми!  
Ой ты, Новгород, родимый наш!

Как по быльнице тропинка пролегла;  
А пойдёмте стольный Киев звать!  
Ой ли вы, с Кремля колокола,  
А пора небось и честь вам знать!

Пропоем мы Богу с ветрами тропарь,  
Вспеним белую попончу,  
Загудит наш с веча колокол, как встарь,  
Тут я, ребята, и покончу.

Сентябрь 1914

## Михаил Лермонтов

### Ангел

По небу полуночи ангел летел,  
И тихую песню он пел,  
И месяц, и звезды, и тучи толпой  
Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов  
Под кущами райских садов,  
О Боге великом он пел, и хвала  
Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес  
Для мира печали и слез;  
И звук его песни в душе молодой  
Остался - без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,  
Желанием чудным полна,  
И звуков небес заменить не могли  
Ей скучные песни земли.

Михаил Кузмин, Крылья (1906)

*Повесть в трех частях*

### **Часть первая**

В несколько опустевшем под утро вагоне становилось все светлее; через запотевшие окна можно было видеть почти ядовито-яркую, несмотря на конец августа, зелень травы, размокшие дороги, тележки молочниц перед закрытым шлагбаумом, будки сторожей, гуляющих дачниц под цветными зонтиками. На частых и однообразных станциях в вагон набирались новые местные пассажиры с портфелями, и было видно, что вагон, дорога, – для них не эпоха, ни даже эпизод жизни, а обычная часть дневной программы, и скамейка, где сидел Николай Иванович Смуров с Ваней, казалась наиболее солидной и значительной из всего вагона. И крепко завязанные чемоданы, ремни с подушками, сидевший напротив старый господин с длинными волосами и с вышедшей из моды сумкой через плечо, – все говорило о более продолжительном пути, о менее привычном, более делающем эпоху путешествия.

Глядя на красноватый луч солнца, мелькавший неровным заревом через клубы локомотивного пара, на поглупевшее лицо спящего Николая Ивановича, Ваня вспомнил скрипучий голос этого же брата, говорившего ему в передней там, далеко, "дома": "денег тебе от мамаша ничего не осталось; ты знаешь, мы и сами не богаты, но, как брату, я готов тебе помочь; тебе еще долго учиться, к себе я взять тебя не могу, а поселю у Алексея Васильевича, буду навещать; там весело, много нужных людей можно встретить. Ты старайся; мы сами бы с Наташей рады тебя взять, но решительно невозможно; да тебе и самому у Казанских будет веселей: там вечно молодежь. За тебя я буду платить; когда разделимся – вычту". Ваня слушал, сидя на окне в передней и глядя как солнце освещало угол сундука, полосатые, серые с лиловатым, брюки Николая Ивановича и крашеный пол. Смысла слов он не старался уловить, думая, как умирала мама, как вдруг весь дом наполнился какими-то, прежде чужими и теперь ставшими необыкновенно близкими, бабами, вспоминая хлопоты, панихиды, похороны и внезапную пустоту и пустынность после всего этого, и, не смотря на Николая Ивановича, он говорил только машинально: "да, дядя Коля", – хотя Николай Иванович и не был дядя, а только двоюродный брат Вани.

И теперь ему казалось странным ехать вдвоем с этим все-таки совсем чужим ему человеком, быть так долго близко к нему, разговаривать о делах, строить планы. И он был несколько разочарован, хотя и знал это раньше, что в Петербург въезжают не сразу в центр дворцов и больших строений при народе, солнце, военной музыке, через большую арку, а тянутся длинные огороды, видные через серые заборы, кладбища, издали казавшиеся романтическими рощами, шестиэтажные промозглые дома рабочих среди деревянных развалюшек, через дым и копоть. "Так вот он – Петербург!" – с разочарованием и любопытством думал Ваня, смотря на неприветливые лица носильщиков.

– Ты прочитал, Костя, – можно? – проговорила Анна Николаевна, вставая из-за стола и беря длинными, в дешевых кольцах, несмотря на утренний час, пальцами пачку русских газет от Константина Васильевича.

– Да; ничего интересного.

– Что же может быть интересного в наших газетах? Я понимаю -заграницей! Там все можно писать, отвечая за все же, в случае надобности, перед судом. У нас же нечто ужасное, – не знаешь чему верить. Донесения и сообщения от правительства – неверны или

ничтожны, внутренней жизни, кроме растрат, никакой, только слухи специальных корреспондентов.

– Но ведь и за границей только сенсационные слухи, причем за вранье перед законом не отвечают. Кока и Боба лениво болтали ложками в стаканах и ели хлеб с плохим маслом.

– Ты куда сегодня, Ната? много дела?– спрашивала Анна Николаевна несколько деланным тоном.

Ната, вся в веснушках, с вульгарно припухлым ртом, рыжеватая, что-то отвечала сквозь набитый булкой рот. Дядя Костя, проворовавшийся кассир какого-то темного клуба, после выхода из заключения живший без места и дел у брата, возмущался процессом о хищении.

– Теперь, когда все просыпается, нарождаются новые силы, все пробуждается, – горячился Алексей Васильевич.

– Я вовсе не за всякое пробуждение; например, тетку Сонину я предпочитаю спящей.

Приходили и уходили какие-то студенты и просто молодые люди в пиджаках, обмениваясь впечатлениями о только что бывших скачках, почерпнутыми из газет; дядя Костя потребовал водки; Анна Николаевна, уже в шляпе, натягивая перчатки, говорила о выставке, косясь на дядю Костю, который наливал рюмки слегка дрожащими руками и, поводя добрыми красноватыми глазами, говорил: "Забастовка, други мои, это знаете, это, знаете"...

– Ларион Дмитриевич!– доложила прислуга, быстро проходя в кухню и забирая по пути поднос со стаканами и запачканную смятую скатерть. Ваня отвернулся от окна, где он стоял, и увидел входящую в дверь хорошо знакомую длинную фигуру, в мешковатом платье, Лариона Дмитриевича Штрупа.

Ваня с некоторых пор стал причесываться и заниматься своим туалетом. Рассматривая в небольшое зеркало на стене свое отражение, он безучастно смотрел на несколько незначительное круглое лицо с румянцем, большие серые глаза, красивый, но еще детски припухлый рот и светлые волосы, которые, не остриженные коротко, слегка кудрявились. Ему ни нравился, ни не нравился этот высокий и тонкий мальчик в черной блузе с тонкими бровями. За окном виднелся двор с мокрыми плитами, окна противоположного флигеля, разносчики со спичками. Был праздник, и все еще спали. Вставши рано по привычке, Ваня сел к окну дожидаться чая, слушая звон ближайшей церкви и шорох прислуги, убиравшей соседнюю комнату. Он вспомнил праздничные утра там, "дома", в старом уездном городке, их чистые комнатки с кисейными занавесками и лампадами, обедню, пирог за обедом, все простое, светлое и милое, и ему стало скучно от дождливой погоды, шарманок на дворах, газет за утренним чаем, сумбурной и неуютной жизни, темных комнат.

В дверь заглянул Константин Васильевич, иногда заходивший к Ване.

– Ты один, Ваня?

– Да, дядя Костя. Здравствуйте! А что?

– Ничего. Чаю дожидаясь?

– Да. Тетя еще не встала?

– Встала, да не выходит. Злится, верно, денег нет. Это первый признак: как два часа сидит в спальне, значит, денег нет. И к чему? Все равно вылезать придется.

– Дядя Алексей Васильевич много получает? Вы не знаете?

– Как придется. Да и что значит "много"? Для человека денег никогда не бывает много. Константин Васильевич вздохнул и помолчал, молчал и Ваня, смотря в окно.

– Что я у тебя хочу спросить, Иванушка, – начал опять Константин Васильевич, – нет ли у тебя свободных денег до среды, я тебе тотчас в среду отдам?

– Да откуда же у меня будут деньги? Нет, конечно.

- Мало ли откуда? Может дать кто...
- Что вы, дядя! Кто же мне будет давать?
- Так, значит, нет?
- Нет.
- Плохо дело!
- А вы сколько желали бы иметь?
- Рублей пять, немного, совсем немного, – снова оживился Константин Васильевич.
- Может, найдутся, а? Только до середины?!
- Нет у меня пяти рублей.

Константин Васильевич посмотрел разочарованно и хитро на Ваню и помолчал. Ване сделалось еще тоскливее.

– Что ж делать-то? Дождик еще идет... Вот что, Иванушка, попроси денег для меня у Лариона Дмитриевича.

- У Штруппа?
- Да, попроси, голубчик!
- Что ж вы сами не попросите?
- Он мне не даст.
- Почему же вам не даст, а мне даст?
- Да уж даст, поверь; пожалуйста, голубчик, только не говори, что для меня; будто для тебя самого нужно 20 рублей.
- Да ведь 5 только?!
- Не все ли равно, сколько просить? Пожалуйста, Ваня!
- Ну, хорошо. А если он спросит зачем мне?
- Он не спросит, он – умница.
- Только вы уж сами отдавайте, смотрите.
- Не премину, не премину.
- А почему вы думаете, дядя, что Штрупп мне даст денег?
- Так уж думаю! – И, улыбаясь, сконфуженный и довольный, Константин Васильевич на цыпочках вышел из комнаты. Ваня долго стоял у окна, не оборачиваясь и не видя мокрого двора, и когда его позвали к чаю, раньше, чем войти в столовую, он еще раз посмотрел в зеркало на свое покрасневшее лицо с серыми глазами и тонкими бровями.

На греческом Николаев и Шпилевский все время развлекали Ваню, вертась и хихикая на передней парте. Перед каникулами занятия шли кое-как, и маленький стареющий учитель, сидя на ноге, говорил о греческой жизни, не спрашивая уроков; окна были открыты, и виднелись верхушки зеленеющих деревьев и красный корпус какого-то здания. Ване все больше и больше хотелось из Петербурга на воздух, куда-нибудь подальше. Медные ручки дверей и окон, плевальницы, все ярко вычищенное, карты по стенам, доска, желтый ящик для бумаг, то стриженные, то кудрявые затылки товарищей – казались ему невыносимыми.

– Сикофанты-доносчики, шпионы, буквально – показыватели фиг; когда был еще запрещен вывоз из Аттики этих продуктов под страхом штрафа, эти люди, шантажисты по-нашему, показывали подозреваемому из-под плаща фигу в виде угрозы, что в случае, если он не откупится от них... – И Даниил Иванович, не сходя с кафедры, показывал жестом и мимикой и доносчиков, и оклеветанных, и плащ и фигу потом, сорвавшись с места, ходил по классу, озабоченно повторяя что-нибудь одно и то же, вроде: "Сикофанты... да сикофанты... да, господа, сикофанты", придавая различные, но совершенно неожиданные для данного слова оттенки. "Сегодня постараюсь спросить у Штруппа денег", – думал Ваня, глядя в окно.

Шпилевский, окончательно красный, поднялся с парты:

- Что это Николаев ко мне пристает?!

– Николаев, зачем вы пристаёте к Шпилевскому?  
– Я не пристаю.  
– Что же вы делаете?  
– Я его шекочу.  
– Садитесь. А вам, г-н Шпилевский, советую быть более точным в словоупотреблении. Принимая в соображение, что вы не женщина, приставать к вам г-н Николаев не может будучи юношей уже на возрасте и понятий достаточно ограниченных.

– Я ставлю вопрос так: хочешь работать – работай, не хочешь – не работай, – говорила Анна Николаевна таким видом, будто интерес всего мира сосредоточен на том как она ставит вопрос. В гостиной, уставленной вдоль и поперек стильной мебелью в виде сидячих ванн, купальных кресел и ящиков для бумаг, было шумно от четырех женских голосов: Анны Николаевны, Наты, сестер Шпейер – художниц.

– Этот шкаф я очень люблю, но скамейка меня не привлекает. Я бы всегда предпочла шкаф.

– Даже если б нужна была мебель для сиденья?

– Негодуют на заваленность работой прислуги: она больше гуляет, чем мы! Иногда я днями не выхожу из дому, нашей Аннушке сколько раз приходится сходить в лавку, – мало ли за чем, за хлебом, за сапогами. И притом общенье с людьми громадное. Я нахожу жалобы всех жалельщиков очень преувеличенными.

– Представьте, он позирует с таким настроением, что ученицы боятся сидеть близко. Притом интереснейшая личность: русский цыган из Мюнхена; был в гимназии, в балете, в натурщиках; о Штуке сообщает презанятные подробности.

– На розовом фуляре это будет слишком ярко. Я бы предпочла бледно-зеленый.

– Об этом нужно спросить у Штрупа.

– Но ведь он вчера уехал, Штруп, несчастные! – закричала старшая Шпейер.

– Как, Штруп уехал? Куда? зачем?

– Ну, уж этого я вам не могу сказать: по обыкновению – тайна.

– От кого вы слышали?

– Да от него же и слышала; говорит, недели на три.

– Ну, это еще не так страшно!

– А сегодня еще Ваня Смуров спрашивал, когда будет у нас Штруп.

– А ему-то на что?

– Не знаю, дело какое-то.

– У Вани со Штрупом? – Вот оригинально!

– Ну, Ната, нам пора, – старалась зашебетать Анна Николаевна, и обе дамы, шурша юбками, удалились, уверенные, что они очень похожи на светских дам романов Прево и Онэ, которые они читали в переводе.

В апреле был поднят вопрос о даче. Алексей Васильевич должен был часто, почти ежедневно бывать в городе; Кока с Бобой также, и планы Анны Николаевны и Наты относительно Волги висели в воздухе. Колебались между Териоками и Сестрорецком, но, независимо от места дачи, все заботились о летних платьях. В раскрытые окна летела пыль и слышался шум езды и звонки конок. Готовить уроки, читать Ваня уходил иногда в Летний сад. Сидя на крайней дорожке к Марсову полю, положив раскрытую желто-розовую книжку изданий Тейбнера обложкой вверх, он смотрел, слегка еще выросший и побледневший от весеннего загара, на прохожих в саду и по ту сторону Лебяжьей канавки. С другого конца сада доносился смех детей, играющих на Крыловской площадке, и Ваня не слышал, как заскрипел песок под ногами подходившего Штрупа.

– Занимаетесь! – проговорил тот, опускаясь на скамью рядом с Ваней, думавшим ограничиться поклоном.

– Занимаюсь; да, знаете, так все это надоело, что просто ужас!..

– Что это, Гомер?

– Гомер. Особенно этот греческий!

– Вы не любите греческого?

– Кто же его любит? – улыбнулся Ваня.

– Это очень жаль!

– Что это?

– Что вы не любите языков.

– Новые я, ничего, люблю, можно прочесть что-нибудь, а по-гречески кто же будет их читать, допотопность такую?

– Какой вы мальчик, Ваня. Целый мир, миры для вас закрыты; притом мир красоты, не только знать, но любить который – основа всякой образованности.

– Можно читать в переводах, а столько времени учить грамматику?!

Штруп посмотрел на Ваню с бесконечным сожалением.

– Вместо человека из плоти и крови, смеющегося или хмурого, которого можно любить, целовать, ненавидеть, в котором видна кровь, переливающаяся в жилах, и естественная грация нагого тела, – иметь бездушную куклу, часто сделанную руками ремесленника, – вот переводы. А времени на подготовительное занятие грамматикой нужно очень мало. Нужно только читать, читать и читать. Читать, смотря каждое слово в словаре, пробираясь как сквозь чащу леса, и вы получили бы неиспытанные наслаждения. А мне кажется, что в вас, Ваня, есть задатки сделаться настоящим новым человеком.

Ваня недовольно молчал.

– Вы плохо окружены, но это может быть к лучшему, лишая вас предрассудков всякой традиционной жизни, и вы могли бы сделаться вполне современным человеком, если бы хотели, – добавил, помолчав, Штруп.

– Я не знаю, я хотел бы куда-нибудь уехать от всего этого: и от гимназии, и от Гомера, и от Анны Николаевны – вот и все.

– На лоно природы?

– Именно.

– Но, милый друг мой, если жить на лоне природы – значит, больше есть, пить молоко, купаться и ничего не делать – то, конечно, это очень просто; но наслаждаться природой, пожалуй, труднее греческой грамматики и, как всякое наслаждение, утомляет. И я не поверю человеку, который, видя равнодушно в городе лучшую часть природы – небо и воду, едет искать природы на Монблан; я не поверю, что он любит природу.

Дядя Костя предложил Ване подвезти его на извозчике.

В жарком утре уже чувствовалась близость лета, и улицы наполовину были перегорожены рогатками. Дядя Костя, занимая три четверти пролетки, крепко сидел, расставя ноги

– Дядя Костя, вы подождите немного, я только узнаю пришел ли батюшка, и если не пришел, я проеду с вами! докуда вам нужно, а оттуда пройду пешком, чем в гимназии то сидеть. Хорошо?

– А почему ваш батюшка должен не прийти?

– Он уж неделю болеет.

– А, ну хорошо, спрашивай.

Через минуту Ваня вышел и, обошедши извозчика, сел с другой стороны, рядом с Константином Васильевичем.

– А Ларион-то Дмитриевич будто предчувствовал, брат, какие мы на него планы строим, – уехал, да и не приезжает.

– Может быть, он и приехал.

– Тогда бы явился к Анне Николаевне.

– Кто он такой, дядя Костя?

– Кто, кто такой?

– Ларион Дмитриевич.

– Штруп – и больше ничего. Полу-англичанин, богатый человек, нигде не служит, живет хорошо, даже отлично, в высшей степени образованный и начитанный человек, так что я даже не понимаю, чего он бывает у Казанских?

– Ведь он неженатый, дядя?

– Даже совсем наоборот, и если Ната думает, что он на все прельстится, то жестоко ошибается, и вообще, я решительно не понимаю, что ему делать у Казанских? Вчера, умора: Анна Николаевна давала генеральное сражение Алексею!

Они переезжали мостом через Фонтанку. Мужики на садках вытаскивали рыбу из люков, дымили пароходики, и толпа без дела стояла у каменного парапета. Мороженник с грохотом подвигал свой голубой ящик.

– Ты, может быть, слышал от кого, что Штруп вернулся, или его самого видел? – говорил на прощанье дядя Костя.

– Нет, да где же, раз он, говорите, не приезжал, – сказал Ваня, краснея.

– Вот ты говорил, что не жарко, а сам как раскраснелся, – и тучная фигура Константина Васильевича скрылась в подъезде.

"Зачем я скрыл встречу со Штрупом?" – думал Ваня, радуясь, что у него образовывается какая-то тайна.

В учительской было сильно накурено, и стаканы жидкого чая слегка янтарились в полутемной комнате первого этажа. Входящим казалось, что фигуры движутся в аквариуме. Шедший за матовыми окнами проливной дождь усиливал это впечатление. Шум голосов, звяканье ложечек мешался с глухим гамом большой перемены, доносившимся из залы и временами совсем близко – из коридора.

– Орлова опять изводят шестиклассники; решительно, он не умеет себя поставить.

– Ну, хорошо, ну, допустим, вы выведете ему двойку. он останется, – думаете ли вы этим его исправить?

– Я вовсе не преследую исправительные цели, а стараюсь о справедливой оценке знания.

– Наши бы гимназисты пришли в ужас, если бы увидели программы французских коллежей, не говоря о семинариях.

– Вряд ли Иван Петрович будет этим доволен.

– Бесподобно, говорю вам, бесподобно, вчера он был отлично в голосе.

– Вы тоже хороши, лезете на малый в трефах, а у самого король, валет и две маленькие.

– Шпилевский – распутный мальчишка, и я не понимаю, что вы за него так стоите.

Все голоса покрыл резкий тенор инспектора, чеха в пенсне и в седой бородке клином:

– Потом я попрошу вас, господа, наблюдать за форточками; никогда выше четырнадцать градус, тяга и вентиляция.

Постепенно расходились, и в пустешей учительской раздавался только тихий басок учителя русского языка, беседовавшего с греком.

– Удивительные там попадаются типы. На лето, перед поступлением, предлагалось прочесть кое-что, довольно много, и, например, Демона – так передают ex abrupto (Без обиняков лат.) "Дьявол летал над землею и увидел девочку". – Как же эту девочку звали? –

"Лиза" – Положим, Тамара. – "Так точно, Тамара". – Ну и что же? – "Он захотел на ней жениться, да жених помешал, потом жениха убили татары". – Что же, тогда Демон женился на Тамаре? – "Никак нет, ангел помешал, дорогу перешел; так Дьявол и остался холостым и все возненавидел".

– По-моему, это великолепно...

– Или об Рудине отзыв: "Дрянной был человек, все говорил, а ничего не делал; потом связался с пустыми людьми, его и убили". – Почему же, – спрашиваю, – вы считаете рабочих и вообще всех участников народного движения, во время которого погиб Рудин, людьми пустыми? – "Так-точно, – отвечает, – за правду пострадал".

– Вы напрасно добивались личного мнения этого молодого человека о прочитанном. Военная служба, как монастырь, как почти всякое выработанное вероучение, имеет громадную привлекательность в наличии готовых и определенных отношений ко всякому роду явлениям и понятиям. Для слабых людей это – большая поддержка, и жизнь делается необыкновенно легкой, лишенная этического творчества.

В коридоре Даниила Ивановича поджидал Ваня.

– Что вам угодно, Смуров?

– Я бы хотел, Даниил Иванович, поговорить с вами приватно.

– Насчет чего же?

– Насчет греческого.

– Разве у вас не все благополучно?

– Нет, у меня три с плюсом.

– Так что же вам?

– Нет, я вообще хотел поговорить с вами о греческом, и вы, пожалуйста, Даниил Иванович, позвольте мне прийти к вам на квартиру.

– Да, пожалуйста, пожалуйста. Адрес мой знаете. Хотя это более чем замечательно: человек, у которого все благополучно, – и желающий приватно говорить о греческом. Пожалуйста, я живу один, от семи до одиннадцати всегда к вашим услугам.

Даниил Иванович стал уже подыматься по половику лестницы, но, остановясь, закричал Ване: "Вы, Смуров, не подумайте чего: после одиннадцати я тоже дома, но ложусь спать и способен уже только на самые приватные объяснения, в которых вы, вероятно, не нуждаетесь".

Ваня не раз встречал Штрупа в Летнем саду и, сам не замечая, поджидал его, всегда сядясь в одну и ту же аллею, и, уходя, не дождавшись, легкой, несмотря на преднамеренную медленность, походкою, зорко всматривался в похожие на Штрупа фигуры мужчин. Однажды, когда, не дождавшись, он пошел обойти часть сада, где он никогда не был, он встретил Коку, шедшего в расстегнутом пальто поверх тужурки.

– Вот ты где, Иван! Что, гуляешь?

– Да, я довольно часто здесь бываю, а что?

– Что же я тебя никогда не вижу? Ты где-нибудь в другой стороне сидишь, что ли?

– Как придется.

– Вот Штрупа я каждый раз встречаю и даже подозреваю, – не за одним ли и тем же мы и ходим сюда?

– Разве Штруп приехал?

– Некоторое время. Ната и все это знают, и какая бы Ната ни была дура, – все-таки свинство, что он к нам не является, будто мы какая-нибудь дрянь.

– При чем же тут Ната?

– Она ловит Штрупа и совершенно зря делает: он вообще не женится, а тем более на Ната, я думаю, что и с Идой-то Гольберг у него только эстетические разговоры, и я напрасно волнуюсь.

– Разве ты волнуешься?

– Понятно, раз я влюблен! – и, позабыв, что он разговаривает с не знавшим его дел Ваней, Кока оживился: – чудная девушка, образованная; музыкантша, красавица, и как богата! Только она – хромая. И вот хожу сюда каждый день видеть ее, она здесь гуляет от 3-4 часов, и Штруп, боюсь, ходит не за тем же ли.

– Разве Штруп тоже в нее влюблен?

– Штруп?

– Ну, уж это атанде, у него нос не тем концом пришит! Он только разговоры разговаривает, а она-то на него чуть не молится. А влюбленности Штрупа, это – совсем другая, совсем другая область.

– Ты просто злишься, Кока!..

– Глупо!..

Они только что повернули мимо грядки красной герани, как Кока провозгласил: "Вот и они!" Ваня увидел высокую девушку, с бледным кругловатым лицом, совсем светлыми волосами, с афродизийским разрезом больших серых, теперь посиневших от волнения глаз, со ртом, как на картинах Боттичелли, в темном платье; она шла, хромая и опираясь на руку пожилой дамы, между тем как Штруп с другой стороны говорил: "И люди увидели, что всякая Красота, всякая любовь – от богов, и стали свободны и смелы, и у них выросли крылья".

В конце концов Кока и Боба достали ложу на "Самсона и Далилу". Но первое представление было заменено "Кармен", и Ната, по настоянию которой и было затеяно это предприятие, в надежде встретиться со Штрупом на нейтральной почве, рвала и метала, зная, что он не пойдет без особых причин на эту столь хорошо известную оперу. Место свое в ложе уступила Ване, с тем, чтобы, если она посреди спектакля придет в театр, он уезжал домой. Анна Николаевна с сестрами Шпейер и Алексей Васильевич отправились на извозчиках, а молодые люди вперед пешком.

Уже Кармен и ее подруги плясали у Лилась Пастьи, когда Ната, как по вдохновенью узнавшая, что Штруп в театре, явилась вся в голубом, напудренная и взволнованная.

– Ну, Иван, тебе придется сокращаться.

– Досижу до конца-то действия.

– Штруп здесь? – спрашивала Ната шепотом, усаживаясь рядом с Анной Николаевной. Та молча повела глазами на ложу, где сидела Ида Гольберг с пожилой дамой, совсем молоденький офицер и Штруп.

– Это прямо предчувствие, прямо предчувствие! – говорила Ната, раскрывая и закрывая веер.

– Бедняжка! – вздохнула Анна Николаевна. В антракте Ваня собирался уходить, как Ната остановила его и позвала пройти в фойэ.

– Ната, Ната! – раздавался голос Анны Николаевны из глубины ложи, – прилично ли это будет?

Ната бурно устремилась вниз, увлекая за собой Ваню. Перед входом в фойэ она остановилась у зеркала поправить свои волосы и потом медленно пошла в еще не наполненный публикою зал. Штрупа они встретили: он шел в разговоре с тем же молодым офицером, что был в ложе, не замечая Смурова и Наты, и даже тотчас вышел в соседнюю проходную комнату, где за столом с фотографиями скучала завитая продавщица.

– Выйдем, страшная духота! – проговорила Ната, таща Ваню за Штрупом.

– С того выхода нам ближе к месту.

– Не все ли равно! – прикрикнула девушка, торопясь и почти расталкивая публику. Штруп их увидел и наклонился над фотографиями. Поравнявшись с ним, Ваня громко окликнул: "Ларион Дмитриевич!"

– Ах, Ваня! – обернулся тот. – Наталья Алексеевна, простите, сразу не заметил.

– Не ожидала, что вы здесь, – начала Ната.

– Отчего же? Я очень люблю "Кармен", и она мне никогда не надоест: в ней есть глубокое и истинное биение жизни, и все залито солнцем; я понимаю, что Ницше мог увлекаться этой музыкой.

Ната молча прослушала, злорадно смотря рыжими глазами на говорившего, и произнесла:

– Я не тому удивляюсь, что встретила вас на "Кармен", а тому, что увидела вас в Петербурге и не у нас.

– Да я приехал недели две.

– Очень мило.

Они стали ходить по пустому коридору мимо дремлющих лакеев, и Ваня, стоя у лестницы, с интересом смотрел на все более покрывавшееся красными пятнами лицо Наты и сердитую физиономию ее кавалера. Антракт кончился, и Ваня тихо стал подыматься по лестнице в ярус, чтобы одеться и ехать домой, как вдруг его обогнала почти бежавшая Ната с платком у рта.

– Это позорно, слышишь, Иван, позорно, как этот человек со мной говорит, – прошептала она Ване и пробежала наверх. Ваня хотел проститься со Штрупом и, постояв некоторое время на лестнице, спустился в нижний коридор; там, у дверей в ложу, стоял Штруп с офицером.

– Прощайте, Ларион Дмитриевич, – делая вид, что идет к себе наверх, проговорил Ваня.

– Разве вы уходите?

– Да ведь я был не на своем месте: Ната приехала, я и оказался лишним.

– Что за глупости, идите к нам в ложу, у нас есть свободные места. Последнее действие – одно из лучших.

– А это ничего, что я пойду в ложу, я ведь незнаком?

– Конечно, ничего: Гольберг – препростые люди, и вы же. еще мальчик, Ваня.

Пройдя в ложу, Штруп наклонился к Ване, который слушал его, не поворачивая головы:

– И потом, Ваня, я, может быть, не буду бывать у Казанских; так, если вы не прочь, я буду очень рад всегда вас видеть у себя. Можете сказать, что занимаетесь со мной английским: да никто и не спросит, куда и зачем вы ходите. Пожалуйста, Ваня, приходите.

– Хорошо. А разве вы поругались с Натой? Вы на ней не женитесь? – спрашивал Ваня, не оборачивая головы.

– Нет, – серьезно сказал Штруп.

– Это, знаете ли, очень хорошо, что вы на ней не женитесь, потому что она страшно противная, совершенная лягушка! – вдруг рассмеялся, повернувшись всем лицом к Штрупу, Ваня и зачем-то схватил его руку.

– Это занятно, насколько мы видим то, что желаем видеть, и понимаем то, что ищется нами. Как в греческих трагиках римляне и романские народы XVII-го века усмотрели только три единства, XVIII-й век – раскатистые тирады и освободительные идеи, романтики – подвиги высокого героизма и наш век – острый оттенок первобытности и Клингеровскую осиянность далее...

Ваня слушал, осматривая еще залитую вечерним солнцем комнату: по стенам – полки до потолка с переплетенными книгами, книги на столах и стульях, клетку с дроздом, параличного котенка на кожаном диване и в углу небольшую голову Антиноя, стоящую одиноко, как пенаты этого обиталища. Даниил Иванович, в войлочных туфлях, хлопотал о чае, вытаскивая из железной печки сыр и масло в бумажках, и котенок, не поворачивая

головы, следил зелеными глазами за движениями своего хозяина. "И откуда мы взяли, что он старый, когда он совсем молодой", думал Ваня, с удивлением разглядывая лысую голову маленького грека.

– В XV-м веке у итальянцев уже прочно установился взгляд на дружбу Ахилла с Патроклом и Ореста с Пиладом как на содомскую любовь, между тем у Гомера нет прямых указаний на это.

– Что ж, итальянцы это придумали сами?

– Нет, они были правы, но дело в том, что только циничное отношение к какой бы то ни было любви делает ее развратом. Нравственно или безнравственно я поступаю, когда я чихаю, стираю пыль со стола, глажу котенка? И, однако, эти же поступки могут быть преступны, если, например, скажем, я чиханьем предупреждаю убийцу о времени, удобном для убийства, и так далее. Хладнокровно, без злобы совершающий убийство лишает это действие всякой этической окраски, кроме мистического общенья убийцы и жертвы, любовников, матери и ребенка.

Совсем стемнело, и в окно еле виднелись крыши домов и вдали Исаакий на грязновато-розовом небе, заволакиваемом дымом.

Ваня стал собираться домой; котенок заковылял на своих искалеченных передних лапках, потревоженный с Ваниной фуражки, на которой он спал.

– Вот вы, верно, добрый, Даниил Иванович: разных калек прибираете.

– Он мне нравится, и мне приятно его у себя иметь. Если делать то, что доставляет удовольствие, значит быть добрым, то я – такой.

– Скажите, пожалуйста, Смуров, – говорил Даниил Иванович, на прощанье пожимая Ванину руку, – вы сами по себе надумали прийти ко мне за греческими разговорами?

– Да, т. е. мысль эту мне дал, пожалуй, и другой человек.

– Кто же, если это не секрет?

– Нет, отчего же? Только вы его не знаете.

– А может быть?

– Некто Штруп.

– Ларион Дмитриевич?

– Разве вы его знаете?

– И даже очень, – ответил грек, светя Ване на лестнице лампой.

В закрытой каюте финляндского парходика никого не было, но Ната, боявшаяся сквозняков и флюсов, повела всю компанию именно сюда.

– Совсем, совсем нет дач! – говорила уставшая Анна Николаевна.

– Везде такая скверность: дыры, дует!

– На дачах всегда дует, – чего же вы ожидали? Не в первый раз живете!

– Хочешь? – предложил Кока свой раскрытый серебряный портсигар с голой дамой Бобе.

– Не потому на даче прескверно, что там скверно, а потому, что чувствуешь себя на бивуаках, временно проживающим, и не установлена жизнь, а в городе всегда знаешь, что надо в какое время делать.

– А если б ты жил всегда на даче, зиму и лето?

– Тогда бы не было скверно; я бы установил программу.

– Правда, – подхватила Анна Николаевна, – на время не хочется и устраиваться. Например, позапрошлого лето оклеили новыми обоями, – так все чистенькими и пришлось подарить хозяйину, не сдирать же их!

– Что ж ты жалеешь, что их не вымазала?

Ната с гримасой смотрела через стекло на горящие при закате окна дворцов и золотисто-розовые, широко и гладко расходящиеся волны.

– И потом народу масса, все друг про друга знают, что готовят, что прислуге платят.  
– Вообще гадость!..  
– Зачем же ты едешь?  
– Как зачем? Куда же деваться? В городе, что ли, оставаться?  
– Ну так что ж? По крайней мере, когда солнце, можно ходить по теневой стороне.  
– Вечно дядя Костя выдумает.  
– Мама, – вдруг обернулась Ната, – поедем, голубчик, на Волгу: там есть небольшие города, Плес, Васильсурск, где можно очень недорого устроиться. Варвара Николаевна Шпейер говорила... Они в Плесе жили целой компанией, знаете, там Левитан еще жил; в Угличе тоже они жили.  
– Ну из Углича-то их, кажется, вытурили, – отозвался Кока.  
– Ну и вытурили, ну и что же? А нас не вытурят! Им, конечно, хозяева сказали: "Вас целая компания, барышни, кавалеры, наш город тихий, никто не ездит, мы боимся: вы уж извините, а квартиру очищайте".  
Подъезжали к Александровскому саду; в нижние окна пристани виделась ярко освещенная кухня, поваренок, весь в белом, за чисткой рыбы, пылающая плита в глубине.  
– Тетя, я пройду отсюда к Лариону Дмитриевичу, – сказал Ваня.  
– Что же, иди; вот тоже товарища нашел! – ворчала Анна Николаевна.  
– Разве он дурной человек?  
– Не про то говорю, что дурной, а что не товарищ.  
– Я с ним английским занимаюсь.  
– Все пустяки, лучше бы уроки готовил..  
– Нет, я все-таки, тетя, знаете, пойду.  
– Да иди, кто тебя держит?  
– Целуйся со своим Штрупом, – добавила Ната.  
– Ну, и буду, ну, и буду, и никому нет до этого дела.  
– Положим, – начал было Боба, но Ваня прервал его, налетая на. Нату:  
– Ты бы и не прочь с ним целоваться, да он сам не хочет, потому что ты – рыжая лягушка, потому что ты – дура! Да!  
– Иван, прекрати! – раздался голос Алексея Васильевича.  
– Что ж они на меня взъелись? Что они меня не пускают? Разве я маленький? Завтра же напишу дяде Коле!..  
– Иван, прекрати, – тоном выше возгласил Алексей Васильевич.  
– Такой мальчишка, поросенок, смеет так вести себя! – волновалась Анна Николаевна.  
– И Штруп на тебе никогда не женится, не женится, не женится! – вне себя выпаливал Ваня. Ната сразу стихла и, почти спокойная, тихо сказала:  
– А на Иде Гольберг женится?  
– Не знаю, – тоже тихо и просто ответил Ваня, – вряд ли, я думаю, – добавил он почти ласково.  
– Вот еще начали разговоры! – прикрикнула Анна Николаевна.  
– Что ты, веришь, что ли, этому мальчишке?  
– Может быть, и верю, – буркнула Ната, повернувшись к окну.  
– Ты, Иван, не думай, что они такие дурочки, как хотят казаться, – уговаривал Боба Ваню: – они радехоньки, что через тебя могут еще иметь сношения со Штрупом и сведения о Гольберг; только, если ты расположен действительно к Лариону Дмитриевичу, ты будь осторожней, не выдавай себя головой.  
– В чем же я себя выдаю? – удивился Ваня.  
– Так скоро мои советы впрок пошли?! – рассмеялся Боба и пошагал на пристань.

Когда Ваня входил в квартиру Штрупа, он услышал пенье и фортепьяно. Он тихо прошел в кабинет налево от передней, не входя в гостиную, и стал слушать. Незнакомый ему мужской голос пел:

– Вечерний сумрак над теплым морем,  
Огни маяков на потемневшем небе,  
Запах вербены при конце пира,  
Свежее утро после долгих бдений,  
Прогулка в аллеях весеннего сада,  
Крики и смех купающихся женщин,  
Священные павлины у храма Юноны,  
Продавцы фиалок, гранат и лимонов,  
Воркуют голуби, светит солнце, –  
Когда увижу тебя, родимый город!

И фортепьяно низкими аккордами, как густым туманом, окутало томительные фразы голоса. Начался перебойный разговор мужских голосов, и Ваня вышел в залу. Как он любил эту зеленоватую просторную комнату, оглашаемую звуками Рамо и Дебюсси, и этих друзей Штрупа, так непохожих на людей, встречаемых у Казанских; эти споры; эти поздние ужины, мужчин с вином и легким разговором; этот кабинет с книгами до потолка, где они читали Марлоу и Суинберна, эту спальню с умывальным прибором, где по ярко-зеленому фону плясали гирляндой темнокрасные фавны; эту столовую, всю в красной меди; эти рассказы об Италии, Египте, Индии; эти восторги от всякой острой красоты всех стран и всех времен; эти прогулки на острова; эти смущающие, но влекущие рассуждения; эту улыбку на некрасивом лице; этот запах *reau d'Espragne*, веющий тлением; эти худые, сильные пальцы в перстнях, башмаки на необыкновенно толстой подошве – как он любил все это, не понимая, но смутно увлеченный.

– Мы – эллины: нам чужд нетерпимый монотеизм иудеев, их отвертывание от изобразительных искусств, их, вместе с тем, привязанность к плоти, к потомству, к семени. Во всей Библии нет указаний на верование в загробное блаженство, и единственная награда, упомянутая в заповедях (и именно за почтение к давшим жизнь) – долголетен будешь на земле. неплодный брак – пятно и проклятье, лишаящее даже права на участие в богослужении, будто забыли, что по еврейской же легенде чадородье и труд – наказание за грех, а не цель жизни. И чем дальше люди будут от греха, тем дальше будут уходить от деторождения и физического труда. У христиан это смутно понято, когда женщина очищается молитвой после родов, но не после брака, и мужчина не подвержен ничему подобному. Любовь не имеет другой цели помимо себя самой; природа также лишена всякой тени идеи финальности. Законы природы совершенно другого разряда, чем законы божеские, так называемые, и человеческие. Закон природы – не то, что данное дерево должно принести свой плод, но что при известных условиях оно принесет плод, а при других – не принесет и даже погибнет само так же справедливо и просто, как принесло бы плод. Что при введении в сердце ножа оно может перестать биться; тут нет ни финальности, ни добра и зла. И нарушить закон природы может только тот, кто сможет лобзать свои глаза, не вырванными из орбит, и без зеркала видеть собственный затылок. И, когда вам скажут; "противоестественно", – вы только посмотрите на сказавшего слепца и проходите мимо, не уподобляясь тем воробьям, что разлетаются от огородного пугала. Люди ходят, как слепые, как мертвые, когда они могли бы создать пламеннейшую жизнь, где все наслаждение было бы так обострено, будто вы только что родились и сейчас умрете. С такою именно жадностью нужно все воспринимать. Чудеса вокруг нас на каждом шагу: есть мускулы,

связки в человеческом теле, которых невозможно без трепета видеть! И связывающие понятие о красоте с красотой женщины для мужчины являют только пошлую похоть, и дальше, дальше всего от истинной идеи красоты. Мы – эллины, любовники прекрасного, вакханты грядущей жизни. Как виденья Тангейзера в гроте Венеры, как ясновиденье Клингера и Тома, есть пра-отчизна, залитая солнцем и свободой, с прекрасными и смелыми людьми, и туда, через моря, через туман и мрак, мы идем, аргонавты! И в самой неслыханной новизне мы узнаем древнейшие корни, и в самых невиданных сияньях мы чуем отчизну!

– Ваня, взгляните, пожалуйста, в столовой, который час? – сказала Ида Гольберг, опуская на колени какое-то цветное шитье. Большая комната в новом доме, похожая на светлую каюту на палубе корабля, была скудно уставлена простой мебелью; желтая занавеска во всю стену задергивала сразу все три окна, и на кожаные сундуки, еще не упакованные чемоданы, усаженные медными гвоздиками, ящик с запоздавшими гиацинтами ложился желтый, тревожащий свет. Ваня сложил Данта, которого он читал вслух, и вышел в соседнюю комнату.

– Половина шестого, – сказал он, вернувшись.

– Долго нет Лариона Дмитриевича, – будто отвечая на мысли девушки, промолвил он.

– Мы больше не будем заниматься?

– Не стоит, Ваня, начинать новой песни. Итак:

...e vidi che con riso

Udito havenan l'ultimo costrutto;

Poi a la bella doima tornai il viso, –

и увидел, что с улыбкой они слушали последнее заключение, потом к прекрасной даме обернулся.

– Прекрасная дама – это созерцание активной жизни?

– Нельзя, Ваня, вполне верить комментаторам, кроме исторических сведений; понимаете просто и красиво, – вот и все, а то, право, выходит вместо Данта какая-то математика. Она окончательно сложила свою работу и сидела, как бы дожидаясь чего-то, постукивая разрезным ножом по светлой ручке стула.

– Ларион Дмитриевич скоро, наверное, придет, – почти покровительственно заявил Ваня, опять поймав мысль девушки.

– Вы видели его вчера?

– Нет, я ни вчера, ни третьего дня его не видел. Вчера он днем ездил в Царское, а вечером был в клубе, а третьего дня он ездил куда-то на Выборгскую, – не знаю, куда, – почтительно и гордо докладывал Ваня.

– К кому?

– Не знаю, по делам куда-то.

– Вы не знаете?

– Нет.

– Послушайте, Ваня, – заговорила девушка, рассматривая ножик. – Я вас прошу, – не для меня одной, для вас, для Лариона Дмитриевича, для всех нас, – узнайте, что это за адрес? Это очень важно, очень важно для всех троих, – и она протянула Ване клочок бумаги, где разгонистым и острым почерком Штрупа было написано: "Выборгская, Симбирская ул., д. 36, кв. 103, Федор Васильевич Соловьев".

Никого особенно не удивило, что Штруп между прочими увлечениями стал заниматься и русской стариной; что к нему стали ходить то речистые в немецком платье, то старые "от божества" в длиннополых полукафтанах, но одинаково плутоватые торговцы с рукописями, иконами, старинными материями, поддельным литьем; что он стал интересоваться древним пением, читать Смоленского, Разумовского и Металлова, ходить иногда слушать пение на Николаевскую и, наконец, сам, под руководством какого-то рябого певчего, выучивать крюки. "Мне совершенно был незнаком этот закоулок мирового духа", – повторял Штруп, старавшийся заразить этим увлечением и Ваню, к удивлению, тоже поддававшегося в этом именно направлении. Однажды Штруп объявил за чаем:

– Ну, это, Ваня, вы должны непременно видеть, автентичный раскольник с Волги, старого закала, представьте: 18 лет – и ходит в поддевке, чаю не пьет; сестры живут в скиту; дом на Волге, с высоким забором и цепными собаками, где спать ложатся в 9 часов – что-то вроде Печерского, только менее паточно. Вы это должны непременно видеть. Пойдемте завтра к Засадину, у него есть интересное "Вознесенье"; туда придет наш тип, и я вас познакомлю. Да, кстати, запишите адрес на всякий случай; может быть, я проеду прямо с выставки, и вам придется одним его отыскивать. – И Штруп, не смотря в записную книжку, как хорошо знакомое, продиктовал: "Симбирская, д. 36, кв. 103 меблированные комнаты", – там спросите".

За стеной слышался глухой говор двух голосов; часы гирями тихо тикали; по столам, стульям, подоконникам были навалены и наставлены темные иконы и книги в досках обтянутых кожей; было пыльно и затхло, и из коридора через форточку над дверью несся прелый запах кислых щей Засадин стоял перед Ваней и, надевая кафтан, говорил:

– Ларион Дмитриевич не раньше как минут через сорок будет, а то, может, и через час; нужно будет сходить мне тут за иконкой, да уж не знаю, как сделаться? Здесь, что ли, вы подождете или пройдетесь куда?

– Останусь здесь.

– Ну, ну, а я тотчас вернусь. Вот книжками покуда не поинтересуетесь ли, – и Засадин, подавши Ване запыленный Лимонарь, поспешно скрылся в дверь, откуда сильнее пахло прелым запахом кислых щей. И Ваня, стоя у окна, открыл повесть, гласящую, как некий старец после случайного посещения женщиной, жившей одиноко в той же пустыне, все возвращался блудною мыслью к той же жене и, не вытерпев, в самый пеклый жар взял посох и пошел, шатаясь, как слепой, от похоти, к тому месту, где думал найти эту женщину; и, как в исступлении, он увидел: разверзлась земля, и вот в ней – три разложившиеся трупа: женщина, мужчина и ребенок; и был голос: "Вот женщина, вот мужчина, вот ребенок, – кто может теперь различить их? Иди и сотвори свою похоть". Все равны, все равны перед смертью, любовью и красотой, все тела прекрасные равны, и только похоть заставляет мужчину гоняться за женщиной и женщину жаждать мужчины. За стеной молодой сиповатый голос продолжал:

– Ну, я уйду, дядя Ермолай, что ты все ругаешься?

– Да как же тебя, лодыря, не ругать? баловаться вздумал!

– Да Васька, может, тебе все наврал; что ты его слушаешь?

– Чего Ваське врать? ну сам скажи, сам отрекись: не балуешься разве?

– Ну, что же? ну, балуюсь! А Васька не балуется? У нас, почитай, все балуются, разве только Дмитрий Павлович, – и слышно было, как говоривший рассмеялся. Помолчав, он опять начал более интимным тоном, вполголоса: – Сам же Васька и научил меня; пришел раз молодой барин и говорит Дмитрию Павловичу: "Я желаю, чтобы меня мыл, который пускал", – а пускал его я; а как Дмитрий Павлович знал, что барин этот – баловник и прежде всегда им Василий занимался, он и говорит: "Никак невозможно, ваша милость, ему одному идти: – он не очередной и ничего этого не понимает". – Ну, черт с вами, давайте двоих с

Васильем! – Васька как вошел и говорит: "Сколько ж вы нам положите?" – Кроме пива, десять рублей. – А у нас положение: кто на дверях занавеску задернул, значит, баловаться будут, и старосте меньше 5-ти рублей нельзя вынести; Василий и говорит: – "Нет, ваше благородие, нам так не с руки". – Еще красненькую посулил. Пошел Вася воду готовить, и я стал раздеваться, а барин и говорит: "Что это у тебя, Федор, на щеке: родинка или запачкано чем"? – сам смеется и руку протягивает. А я стою, как дурак, и сам не знаю, есть ли у меня какая родинка на щеке, нет ли. Однако тут Василий, сердитый такой, пришел и говорит барину: "пожалуйте-с", – мы все и пошли.

– Матвей-то живет у вас?

– Нет, он на место поступил.

– К кому же? к полковнику?

– К нему, 30 рублей, на всем готовом, положил.

– Он никак женился, Матвей-то?

– Женился, сам же ему на свадьбу и денег дал, пальто за 80 рублей сделал, а жена что же? Она в деревне живет, разве дозvoлят на таком месте с бабой жить? – Я тоже на место надумал идти, – промолвил, помолчав, рассказчик.

– Как Матвей, все равно?

– Барин хороший, один, 30 рублей тоже, как Матвею.

– Пропадешь ты, Федя, смотри.

– Может и не пропаду.

– Да кто такой барин-то, знакомый, что ли?

– Тут, на Фурштадтской, живет, где еще Дмитрий служит в младших, во втором этаже. Да он и здесь, у Степана Степановича, иногда бывает.

– Старовер, что ли?

– Нет, какое. Он даже и не русский, кажется. Англичанин, что ли.

– Хвалят?

– Да, говорят, хороший, добрый барин.

– Ну, что же, в час добрый.

– Прощай, дядя Ермолай, спасибо на угощеньи.

– Заходи когда, Федя, в случае.

– Зайду, – и легкой походкой, постукивая каблуками, Федор пошел по коридору, хлопнув дверь. Ваня быстро вышел, не вполне сознавая, зачем это делает, и крикнул вслед проходившему парню в пиджаке поверх русской рубашки, из-под которого висели кисти пояса шнурком, в низеньких лакированных сапогах и в картузе набекрень: "Послушайте, не знаете ли, скоро будет Степан Степанович Засадин?" Тот обернулся, и в свете, проникающем из номерной двери, Ваня увидел быстрые и вороватые серые глаза на бледном, как у людей, живущих взаперти или в вечном пару, лице, темные волосы в скобку и прекрасно очерченный рот. Несмотря на некоторую грубость черт, в лице была какая-то изнеженность, и хотя Ваня с предубеждением смотрел на эти вороватые ласковые глаза и наглую усмешку рта, было что-то и в лице и во всей высокой фигуре, стройность которой даже под пиджаком бросалась в глаза, что пленяло и приводило в смущенье.

– А вы их изволите дожидаться?

– Да, уж скоро 7 часов.

– Шесть с половиной, – поправил Федор, вынув карманные часы, – а мы думали, что никого нет у них в комнате... Наверно скоро будут, – прибавил он, чтоб что-нибудь сказать.

– Да. Благодарю вас, извините, что побеспокоил, – говорил Ваня, не двигаясь с места.

– Помилуйте-с, – ответил тот с ужимкой. Раздался громкий звонок, и вошли Штруп, Засадин и высокий молодой человек в поддевке. Штруп быстро взглянул на Федора и Ваню, стоявших все друг против друга.

– Извините, что заставил вас дожидаться, – промолвил он Ване, меж тем как Федор бросился снимать пальто. Как во сне видел Ваня все это, чувствуя, что уходит в какую-то пропасть и все застилается туманом.

Когда Ваня вошел в столовую, Анна Николаевна кончала говорить: "И обидно, знаете, что такой человек так себя компрометирует". Константин Васильевич молча повел глазами на Ваню, взявшего книгу и севшего у окна, и заговорил:

– Вот говорят: "Изысканно, неестественно, излишне", но если оставаться при том употреблении нашего тела, какое считается натуральным, то придется руками только раздирать и класть в рот сырое мясо и драться с врагами! ногами преследовать зайцев или убегать от волков и т. д. Это напоминает сказку из 1001 ночи, где девочка, мучимая идеею финальности, все спрашивала, для чего сотворено то или это. И когда она спросила про известную часть тела, то мать ее высекла, приговаривая: "Теперь ты видишь, для чего это сотворено". Конечно, эта мамаша наглядно доказала справедливость своего объяснения, но вряд ли этим исчерпывалась дееспособность данного места. И все моральные объяснения естественности поступков сводятся к тому, что нос сделан для того, чтобы быть выкрашенным в зеленую краску. Человек все способности духа и тела должен развить до последней возможности и изыскивать применимость своих возможностей, если не желает оставаться калибаном.

– Ну, вот гимназисты ходят на головах...

– "Что ж, это во всяком случае плюс и, может быть, это очень приятно", сказал бы Ларион Дмитриевич, – и дядя Костя с вызовом посмотрел на Ваню, не перестававшего читать.

– При чем тут Ларион Дмитриевич? – заметила даже Анна Николаевна.

– Не думаешь же ты, что я излагал свои собственные взгляды?

– Пойду к Нате, – заявила, вставая, Анна Николаевна.

– А что, она здорова? Я ее совсем не вижу, – почему-то вспомнил Ваня.

– Еще бы, ты целыми днями пропадаешь.

– Где же я пропадаю?

– А уж это нужно у тебя спросить, – сказала тетка, выходя из комнаты. Дядя Костя допивал остывший кофе, и в комнате сильно пахло нафталином.

– Вы про Штруппа говорили, дядя Костя, когда я пришел? – решил спросить Ваня.

– Про Штруппа? – право, не помню, – так что-то Анета мне говорила.

– А я думал, что про него.

– Нет, что же мне с ней-то об Штруппе говорить?

– А вы действительно полагаете, что Штрупп таких убеждений, как вы высказывали?

– Его рассужденья таковы; поступки не знаю, и убежденья другого человека – вещь темная и тонкая.

– Разве вы думаете, что его поступки расходятся со словами?

– Не знаю; я не знаю его дел, и потом не всегда можно поступать сообразно желанию. Например, мы собирались давно уже быть на даче, а между тем...

– Знаете, дядя, меня этот старовер, Сорокин, зовет к ним на Волгу: "Приезжайте, – говорит, – тятенька ничего не заругает; посмотрите, как у нас существуют, если интересно". Так вдруг расположился ко мне, не знаю и отчего.

– Ну, что же, вот и отправляйся.

– Денег тетя не даст, да и вообще не стоит.

– Почему не стоит?

– Так все гадко, так все гадко!

– Да с чего же вдруг все гадко-то стало?

– Не знаю, право, – проговорил Ваня и закрыл лицо руками.

Константин Васильевич посмотрел на склоненную голову Вани и тихонько вышел из комнаты.

Швейцара не было, двери на лестницу были открыты, и в переднюю доносился из затворенного кабинета гневный голос, чередуясь с молчанием, когда смутно звучал чей-то тихий, казалось, женский голос. Ваня, не снимая пальто и фуражки, остановился в передней; дверная ручка в кабинет повернулась, и в полуотворившуюся сторону показалась державшая эту ручку чья-то рука до плеча в красном рукаве русской рубашки. Донеслись явственно слова Штрупа: "Я не позволю, чтобы кто-нибудь касался этого! Тем более женщина. Я запрещаю, слышите ли, запрещаю вам говорить об этом!" Дверь снова затворилась и голоса снова стали глуше; Ваня в тоске осматривал так хорошо знакомую переднюю: электричество перед зеркалом и над столом, платье на вешалках; на стол были брошены дамские перчатки, но шляпы и верхнего платья не было видно. Двери опять с треском распахнулись, и Штруп, не замечая Вани, с гневным побледневшим лицом прошел в коридор; – через секунду за ним последовал почти бегом Федор в красной шелковой рубашке, без пояса, с графином в руке. "Что вам угодно?" – обратился он к Ване, очевидно, не узнавая его. Лицо Федора было возбужденно-красное, как у выпившего или нарумянившегося человека, рубашка без пояса, волосы тщательно расчесаны и будто слегка завиты, и от него сильно пахло духами Штрупа.

– Что вам угодно? – повторил он смотревшему на него во все глаза Ване.

– Ларион Дмитриевич?

– Их нет-с.

– Как же я его сейчас видел?

– Извините, они очень заняты-с, никак не могут принять.

– Да вы доложите, подите.

– Нет уж, право, лучше в другой раз как-нибудь зайдите: теперь им никак невозможно принять вас. Не одни они, – понизил голос Федор.

– Федор! – позвал Штруп из глубины коридора, и тот бросился бежать бесшумной походкой. Постояв несколько минут, Ваня вышел на лестницу, притворив дверь, за которой снова раздались заглушенные, но громкие и гневные голоса. В швейцарской, лицом к зеркалу, стояла, поправляя вуалетку, невысокая дама в серо-зеленом платье и черной кофточке. Проходя за ее спиной, Ваня отчетливо разглядел в зеркале, что это была Ната. Поправив вуаль, она не спеша стала подниматься по лестнице и позвонила у квартиры Штрупа, меж тем как подоспевший швейцар выпускал Ваню на улицу.

– Что такое? – остановился Алексей Васильевич, читавший утреннюю газету; "Загадочное самоубийство. Вчера, 21 мая, по Фурштадтской улице, д. N, в квартире английского подданного Л. Д. Штрупа покончила счеты с жизнью молодая, полная надежд и сил девушка Ида Гольберг. Юная самоубийца просит в своей предсмертной записке никого не винить в этой смерти, но обстановка, в которой произошло это печальное событие, заставляет предполагать романическую подкладку. По словам хозяина квартиры, покойная во время горячего объяснения, написав что-то на клочке бумаги, быстро схватила приготовленный для путешествия его, Штрупа, револьвер и, раньше чем присутствовавшие успели что-нибудь предпринять, выпустила весь заряд себе в правый висок. Решение этой загадки усложняется тем, что слуга г-на Штрупа, Федор Васильев Соловьев, кр. Орловской губ., в тот же день бесследно пропал, и что осталась не выясненной как личность дамы, приходившей на квартиру Штрупа за полчаса до рокового события, так и степень ее влияния на трагическую развязку. Производится следствие". Все молчали за чайным столом, и в комнате, напитанной запахом нафталина, было слышно только тиканье часов.

– Что ж это было? Ната? Ната? ты же знаешь это? – каким-то не своим голосом сказал, наконец, Ваня, но Нате продолжала чертить вилкой по пустой тарелке, не отвечая ни слова.

## Часть вторая

– Подумай, Ваня, как чудно, что вот – чужой человек совсем чужой, и ноги у него другие, и кожа, и глаза, – и весь он твой, весь, весь, всего ты его можешь смотреть целовать, трогать; и каждое пятнышко на его теле, где бы оно ни было, и золотые волоски, что растут по рукам, и каждую борозднику, впадинку кожи, через меру любившей И все-то ты знаешь, как он ходит, ест, спит, как разбегаются морщинки по его лицу при улыбке, как он думает, как пахнет его тело. И тогда ты станешь как сам не свой, будто ты и он – одно и то же: плотью, кожей прилепишься и при любви нет на земле, Ваня, большего счастья, а от любви непереносно, непереносно! И что я скажу, Ваня: легче любя не иметь, чем иметь, не любя. Брак, брак; не то тайна, что поп благословит, да дети пойдут: – кошка, вон, и по четыре раза в год таскает, – а что загорится душа отдать себя другому и взять его совсем, хоть на день, и если обоих душа пылает, то и значит, что Бог соединил их. Грех с сердцем холодным или по расчету любовь творить, а кого коснется перст огненный, – что тот ни делай, чист останется перед Господом. Что бы ни делал, кого дух любви коснется все простится ему, потому что не свой уж он, в духе, восторге...

И Марья Дмитриевна, вставши в волненьи, прошлась от яблони до яблони и снова опустила рядом с Ваней и скамью, откуда было видно пол-Волги, нескончаемые леса на другом берегу и далеко направо белая церковь села за Волгой.

– А страшно, Ваня, когда любовь тебя коснется; радостно, а страшно; будто летаешь и все падаешь, или умираешь, как во сне бывает; и все тогда одно везде и видится что в лице любимом пронзило тебя; глаза ли, волосы ль походка ль. И чудно, право: ведь вот – лицо... Нос посередине, рот, два глаза. Что же тебя так волнует и пленяет в нем? И ведь много лиц и красивых видишь и полюбишься ими, как цветком или парчой какой, а другое и не красивое, а всю душу перевернет, и не у всех, а у тебя одного, и одно это лицо: с чего это? И еще, – с запинкой добавила говорившая, – что вот мужчины женщин любят, женщины – мужчин; бывает, говорят, что и женщина женщину любит, а мужчину – мужчина; бывает, говорят, да я и сама в житиях читала: Евгении преподобной, Нифонта, Пафнутия Боровского; опять о царе Иване Васильевиче. Да и поверить не трудно, разве Богу невозможно вложить и эту занозу в сердце человечье? А трудно, Ваня, против вложенного идти, да и грешно, может быть.

Солнце почти село за дальним зубчатым бором, и видные в тех поворотах плеса Волги зажелтели розовым золотом. Марья Дмитриевна молча смотрела на темные леса на том берегу и все бледневший багрянец вечернего неба; молчал и Ваня, будто продолжавший слушать свою собеседницу, полуоткрывши рот, всем существом, потом вдруг не то печально, не то осуждающе заметил:

– А бывает, что и так люди грешат: из любопытства, или гордости, из корысти.

– Бывает, все бывает; их грех, – как-то униженно созналась Марья Дмитриевна, не меняя позы и не поворачиваясь к Ване, – но тем, в которых есть вложное, трудно, ах как трудно, Ванечка! Не в ропот говорю; другим и легка жизнь, да не к чему она; как щи без соли: сытно да не вкусно.

После комнаты, балкона, сеней, двора под яблонями обеда перенеслись в подвал. В подвале было темно, пахло солодом, капустой и несколько мышами, но считалось, что там

не так жарко и нет мух; стол ставили против дверей для большей светлости, но когда Маланья, по двору почти бежавшая с кушаньем, приостанавливалась в отверстии, чтобы спуститься в темноте по ступенькам, становилось еще темнее, и стряпуха неизбежно ворчала: "Ну уж и темнота, прости, Господи! Скажите, что выдумали, куда забрались!" Иногда, не дождавшись Маланьи, за кушаньями бегал кудрявый Сергей, молодец из лавки, обедавший дома вместе с Иваном Осиповичем, и когда он несся потом по двору, высоко держа обеими руками блюдо, за ним катилась и кухарка с ложкой или вилкой, крича: "Да что это, будто я сама не подам? зачем Сергея-то гонять? я бы скоро..."

– Ты бы скоро, а мы бы сейчас, – отпарировал Сергей, ухарски брякая посудой перед Ариной Дмитриевной и усаживаясь с улыбочкой на свое место между Иваном Осиповичем и Сашей.

– И к чему это Бог такую жару придумал? – допытывался Сергей, – никому-то она не нужна: вода сохнет, деревья горят, – всем тяжело...

– Для хлеба, знать.

– Да и для хлеба безо времени да без меры не большая прибыль. А ведь и вовремя и не вовремя – все Бог посылает.

– Не вовремя, тогда, значит, испытание за грехи.

– А вот, – вмешался Иван Осипович, – у нас одного старика жаром убило: никого не обижал и шел-то на богомолье, а его жаром и убило. Это как понимать надо? Сергей молча торжествовал.

– За чужие, знать, грехи, не за свои пострадал, – решал Прохор Никитич не совсем уверенным тоном.

– Как же так? Другие будут пьянствовать да гулять, Господь за них безвинных стариков убивать?

– Или, простите, к примеру, вы бы долгов не платили, а меня бы за вас в яму посадили; хорошо бы это было? – заметил Сергей.

– Лучше щи-то хлебай, чем глупости разводить; к чему, да к чему? Ты думаешь про жару, что она к чему, а она, может, про тебя думает, что ты, Сережка, ни к чему. Насытившись, долго и тягостно пили чай, кто с яблоками, кто с вареньем. Сергей снова начинал резонировать:

– Часто очень бывает затруднительно понять, что как понимать следует; возьмем так: убил солдат человека, убил я; ему – Георгия, меня на каторгу, – почему это?

– Где тебе понять? Вот я скажу: живет муж с женой, и холостой с бабой путается; другой скажет, что все одно, а большая есть разница. В чем, спрашивается?

– Не могу знать, – отозвался Сергей, смотря во все глаза.

– В воображении. Первое, – говорил Прохор Никитич будто отыскивая не только слова, но и мысли, – первое: женатый с одной дело имеет – раз; другое, что живут они тихо, мирно, привыкли друг к другу, и муж жену любит все равно как кашу ест или приказчиков ругает, а у тех все глупости на уме, все хи-хи, да ха-ха, ни постоянства, ни степенности; оттого одно – закон, другое – блуд. Не в деянии грех, а в прилоге, как прилагается дело-то к чему.

– Позвольте, ведь бывает, что и муж жену с сердечным трепетом обожает, а другой и к любовнице так привык, что все равно ему, – ее поцеловать, комара ли раздавить: как же тогда разбирать, где закон, а где блуд?

– Без любви такое делать – скверность одна, – отозвалась вдруг Марья Дмитриевна.

– Вот ты говоришь: "скверность", а мало слова знать надо их силу понимать. Что сказано: "скверна" – идоложертвенное, – вот что; зайцев, примерно, есть – скверна, а то блуд.

– Да что ты все "блуд", да "блуд"! Подумаешь, какой разговор при мальчиках завел! – прикрикнула Арина Дмитриевна.

– Ну, что ж такое, они и сами понимать могут. Так ли Иван Петрович? – обратился старик Сорокин к Ване.

– Что это? – восторженно вскрикнул тот.

– Как вы насчет всего этого полагаете?

– Да, знаете ли, очень трудно судить о чужих делах.

– Вот правду, Ванечка, сказали, – обрадовалась Арина Дмитриевна, – и никогда не судите; это и сказано: "не судите, да не судимы будете".

– Ну, другие не судят, да судимы бывают, – проговорил Сорокин, вылезая из-за стола.

На пристани и на мостках оставались лишь торговки с булками, воблой, малиной и солеными огурцами; причальщики в цветных рубахах стояли, опершись на перила, и плевали в воду, и Арина Дмитриевна, проводив старика Сорокина на пароход, усаживалась на широкую линейку рядом с Марьей Дмитриевной.

– Как это мы, Машенька, лепешки-то забыли? Прохор Никитич так любят чай с ними кушать.

– Да ведь на самом на виду и положила-то их, а потом и не к чему.

– Хоть бы ты, Парфен, напомнил.

– Да ведь мне-то что же? Если бы где на воле забыли, я бы, конечно, скричал, а то я в горницы не ходил, – оправдывался старик-работник.

– Иван Петрович, Саша! куда же вы?! – позвала Арина Дмитриевна молодых людей, начавших уже подыматься в гору.

– Мы, маменька, пешком пройдемся, еще раньше вас придем тропкой-то.

– Ну, идите, идите, ноги молодые. А то проехались бы, Иван Петрович? – уговаривала она Ваню.

– Нет, ничего, мы пешком, благодарю вас, – кричал тот с полугоры.

– Вон – любимовский прибежал, – заметил Саша, снимая фуражку и оборачиваясь слегка вспотевшим, покрасневшимся лицом к ветру.

– Прохор Никитич надолго уехал?

– Нет, дольше Петрова дня не пробудет на Унже, там дела немного, только посмотреть.

– А вы, Саша, разве никогда с отцом не ездите?

– А я и всегда с ним езжу, это вот только что вы у нас гостите, так я не поехал.

– Что ж вы не поехали? Зачем из-за меня стесняться?

Саша снова нахлобучил фуражку на разлетавшиеся во все стороны черные волосы и, улыбнувшись, заметил:

– Никакого стеснения тут, Ванечка, нет, а я так очень рад с вами остаться. Конечно, если б с мамашей да тетенькой с одними, я бы соскучал, а так я очень рад; – помолчав, он продолжал, как бы в раздумьи: – ведь вот бываешь на Унже, на Ветлуге, на Москве и ничего-то ты не видишь, кроме своего дела, все равно как слепой. Везде только лес, да об лесе, да про лес: сколько стоит, да сколько провоз, да сколько выйдет досок, да бревен – вот и все. Тятенька уж так и устроен и меня так же образует. И куда бы мы ни приехали – сейчас по лесникам да по трактирам, и везде все одно и то же, один разговор. Скучно ведь это, знаете ли. Вроде как, скажем, был бы строитель и строил бы он одни только церкви, и не все церкви, а только карнизы у церквей; и объехал бы он весь мир и везде смотрел бы только церковные карнизы, не видя ни разных людей, ни как они живут, как думают, молятся, любят, ни деревьев, ни цветов тех мест – ничего бы он не видел, кроме своих карнизов. Человек должен быть, как река или зеркало – что в нем отразится, то и принимать; тогда, как в Волге, будут в нем и солнышко, и тучи, и леса, и горы высокие, и города с церквями – ко всему ровно должно быть, тогда все и соединишь в себе. А кого одно что-нибудь зацепит, то того и съест, а пуще всего корысть или вот божественное еще.

– То есть, как это божественное?

– Ну, церковное, что ли. Кто о нем все думает и читает, трудно тому что другое понять.

– Да как же, есть и архиереи, светского не чуждающиеся, из ваших даже, например, владыка Иннокентий.

– Конечно, есть, и, знаете ли, по-моему очень плохо делают: нельзя быть хорошим архиереем, хорошим офицером, хорошим купцом, понимая все одинаково; потому я вам, Ваня, от души и завидую, что никого из вас одного не готовят, а все вы знаете и все понимаете, не то что я, например, а одних мы с вами годочков.

– Ну, где же я все знаю, ничему у нас в гимназии не учат!

– Все же, ничего не зная, лучше, чем зная только одно, что можно все понимать.

Внизу глухо застучали колеса дрожек, и где-то на воде далеко раздавались громкая ругань и всплески весел.

– Долго наших нет.

– Должно, к Логинову заехали, – заметил Саша, садясь рядом со Смуровым на траву.

– А разве мы с вами ровесники? – спросил тот, глядя за Волгу, где по лугам бежали тени от тучек.

– Как же, почти в одном месяце родились, я спрашивал у Лариона Дмитриевича.

– Вы хорошо, Саша, знаете Лариона Дмитриевича?

– Не так чтобы очень; недавно ведь мы познакомились-то; да и они не такой человек будут, чтобы с первого раза узнать.

– Вы слышали, какая у них история вышла?

– Слышал, я еще в Питере тогда был; только я думаю, что все это – неправда.

– Что – неправда?

– Что эта барышня не сама убилась. Я видел их, как-то Ларион Дмитриевич показывали мне их в саду: такая чудная. Я тогда же Лариону Дмитриевичу сказал: "Помяните мое слово, нехорошо эта барышня кончит". Такая какая-то блаженная.

– Да, но ведь и не стреляя можно быть причиной самоубийства.

– Нет, Ванечка, если кто на что его не касающееся обидится да убьется, тут никто не причинен.

– А за то, из-за чего застрелилась Ида Павловна, вы вините Штрупа?

– А из-за чего она застрелилась?

– Я думаю, вы сами знаете.

– Из-за Федора?

– Мне кажется, – смутившись ответил Ваня.

Сорокин долго не отвечал, и, когда Ваня поднял глаза, он увидел, что тот совершенно равнодушно, даже несколько сердито смотрит на дорогу, откуда поднимались дрожки с Парфеном.

– Что же, Саша, вы не отвечаете?

Тот бегло посмотрел на Ваню и сказал сердито и просто:

– Федор – простой парень, мужик, что из-за него стреляться? Тогда, пожалуй, Лариону Дмитриевичу не пришлось бы брать ни кучера к лошадям, ни швейцара к дверям и не ходить к доктору, когда зубы болят. Чтобы не было Федора, нужно бы...

– А вы нас дожидаетесь? – закричала Арина Дмитриевна, слезая с дрожек, меж тем как Парфен и Марья Дмитриевна забирали кульки и мешочки и черная дворовая собака с лаем вертелась вокруг.

На Петров день собирались съездить в скит верстах в сорока за Волгой, чтобы отстоять обедню с попом на такой большой праздник и повидаться с Анной Никаноровной, дальней родственницей Сорокиных, жившей на пчельнике у скита; в Черемшаны, где жили

дочери Прохора Никитича, отложили ехать до Ильина дня, чтобы прогостить до конца ярмарки, куда собирался съездить и Ваня. В сентябре думали съехаться, – женщины из Черемшан, мужчины – из Нижнего, а Ваня в конце августа, прямо, не заезжая сюда, в Петербург. Дня за четыре до отъезда, почти уложившись в дорогу, все сидели за вечерним чаем, рассуждая в десятый раз, кто куда и на сколько времени поедет, как с вечерней почтой принесли два письма Ване, не получавшему с самого приезда ни одного. Одно было от Анны Николаевны, где она просила присмотреть в Василе небольшую дачу рублей за 60, так как в конце концов Ната так раскисла, что не может жить на даче под Петербургом, Кока уехал развлекать свое горе в Нотенталь, около Ганге, а Алексей Васильевич, дядя Костя и Боба просто-напросто останутся в городе. Другое было от самого Коки, где среди фраз о том, как он грустит "о смерти этой идеальной девушки, погубленной тем негодяем", – он сообщал, что курзал под боком, барышень масса. что он целыми днями катается на велосипеде и пр. и пр.

"Зачем он мне пишет все это? – думал Ваня, прочитав письмо, – неужели ему не к кому адресоваться, кроме меня?"

– Вот тетя с сестрой просят присмотреть дачу, хотят сюда приехать.

– Так что же, вот у Германихи, кажется, не занята, хотели астраханцы приехать, да что-то не едут; и вам б недалеко было.

– Вы спросите, пожалуйста, Арина Дмитриевна, не отдаст ли она за 60 рублей, и вообще, как там все.

– И за 50 отдаст, вы не беспокойтесь, я все устрою.

Удалившись в свою комнату, Ваня долго сидел у окна, не зажигая свечей, и Петербург, Казанские, Штруп, его квартира, и почему-то особенно, Федор, как он видел его последний раз в красной шелковой рубаше без пояса, с улыбкой на покрасневшем, но не привыкшем к румянцу лице, с графином в руке, – вспомнились ему; зажегши свечу, он вынул томик Шекспира, где было "Ромео и Джульетта", и попробовал читать; словаря не было, и без Штрупа он понимал через пятое в десятое, но какой-то поток красоты и жизни вдруг охватил его, как никогда прежде, будто что-то родное, невиданное, полузабытое воскресло и обняло горячими руками. В дверь тихонько постучались.

– Кто там?

– Я, можно войти?

– Пожалуйста.

– Простите, помешала я вам, – говорила вошедшая Марья Дмитриевна, – вот лестовку вам принесла, в свою сумочку уложите.

– А, хорошо.

– Что это вы прочитывали? – медлила уходить Марья Дмитриевна, – думала, не пролог ли, что взяли почитать.

– Нет, эта так, пьеса одна, английская.

– Так, а я думала, не пролог ли, слов-то не слышно, чуть что читаете с ударением.

– Разве я вслух читал? – удивился Ваня.

– А то как же?.. Так я лестовочку на этажерку положу... Спокойной ночи.

– Спокойной ночи.

И Марья Дмитриевна, поправив лампаду, бесшумно удалилась, тихо, но плотно закрыв двери. Ваня с удивлением, как пробужденный, посмотрел на образа в киоте, лампаду, кованный сундук в углу, сделанную постель, крепкий стол у окна с белой занавесью, за которой был виден сад и звездное небо, – и, закрыв книгу, задул свечу.

– Вот незабудок-то на болоте, – восклицала ежеминутно Марья Дмитриевна, покуда ехали вдоль болотной луговины, сплошь заросшей голубыми цветами и высокой водяной травой, на которой сидели, почти с незаметным трепетом блестящих крыльев и всего

зеленоватого тельца, коромыслы. Отставши с Ваней от первой брички, где ехали Арина Дмитриевна с Сашей, она то сходила с тележки и шла по дорожке вдоль болота и леса, то снова садилась, то сбирала цветы, то что-то напевала, и все время говорила с Ваней будто сама с собой, как бы опьяненная лесом и солнцем, голубым небом и голубыми цветами. И Ваня почти со снисходительным участием смотрел на сиявшее и помолодевшее, как у подростка, лицо этой тридцатилетней женщины.

– В Москве у нас чудный сад был, в Замоскворечьи мы жили; яблони, сирень росла, а в углу ключ был и куст черносмородинный; летом никуда мы не ездили, так я, бывало, целый день в саду; в саду и варенье варила... Люблю я вот, Ванечка, босою ходить по горячей земле или купаться в речке; сквозь воду тело свое видишь, золотые зайчики от воды по нем бегают, а как окунешься, да глаза там откроешь, так все зелено, зелено, и видишь, как рыбки пробегают, и ляжешь потом на горячем песке сушиться, ветерок продувает, славно! И лучше как одна лежишь, никого подружек нет. И это неправда, что старухи говорят, будто тело – грех, цветы, красота – грех, мыться – грех. Разве не Господь все это создал: и воду, и деревья, и тело? Грех – воле Господней противиться: когда, например, кто к чему отмечен, рвется к чему – не позволять этого – вот грех! И как торопиться нужно, Ваня, и сказать нельзя! Как хорошая хозяйка запасает вовремя и капусту и огурцы, зная, что потом не достанешь, так и нам, Ваня, и наглядеться, и налюбоваться, и надышаться надо вовремя! Долог ли век наш? А молодость и еще кратче, и минута, что проходит, никогда не вернется, и вечно помнить это бы нужно; тогда вдвое бы слаще все было, как младенцу, только что глаза открывшему или умирающему.

Вдали слышались голоса Арины Дмитриевны и Саши; сзади стучала по гати телега Парфена, жужжали мухи, пахло травой, болотом и цветами; было жарко, и Марья Дмитриевна, в черном платье и белом платке в роспуск, побледневшая от усталости и жары, с сияющими темными глазами, сидела, слегка сгорбившись, на тележке рядом с Ваней, разбирая сорванные цветы.

– Все равно мне, что я сама про себя думаю, что с вами, Ванечка, говорю, потому душа у вас младенческая.

При повороте открылась обширная поляна и на ней куча домов входами внутрь: многие походили на сараи без окон или с окнами только в верхнем жилье, без видимой улицы, кучей, посеревшие от времени. Людей не было видно, и только навстречу пылившей бричке с Ариной Дмитриевной и Сашей несли лай собак из скита.

После обедни Сорокины и Ваня отправились к старцу Леонтию, жившему на пчельнике в полуверсте от скита. Проходя торопливо через тенистый перелесок на небольшую поляну, где, среди высокой травы с цветами, была слышна струя невидного ручья в деревянном желобе, Арина Дмитриевна сообщала Ване о старце Леонтии:

– Из великороссийской перешел ведь он в истинную-то церковь, давно уж, будет тому лет 30, а и тогда уж немолод был. А крепкий старик, ревнитель; четыре раза под судом был, два года в Суздале отсидел; постник страшный, а уж молиться как сердит – что заведенное колесо! И все он провидит... Вы уж, Ванечка, не говорите прямо, что вы православный, может, ему не понравится.

– А может, он меня еще лучше наставлять начнет?

– Нет, уж лучше не говорите...

– Да хорошо, хорошо, – рассеянно говорил Ваня, с любопытством смотря на низенькую избушку, розовые мальвы вокруг и на завалине, в белой рубашке, синих портах и небольшой скуфейке на голове, седого старика с длинной узкой бородой и живыми веселыми глазами.

– Как пришел он, поп-то, ко мне наверх, сейчас к столу, и ну Евангелие ворошить. "Счастье, – говорит – твое, что с выходом, а то бы я отобрал, а картинки и которые рукописи

отберу беспременно", – портреты у меня висели Семена Денисова, Петра Филиппова и другие кое-какие на стене. А я еще не старый был, здоровый, и говорю: "Это еще тебе, батька, как бы я позволил, отобрать-то". Дьякон совсем пьян был, все охал, а говорит: "Прекрати, отец". Поп повалил меня на кровать и хочет из блюдечка чаем поливать – крестить, значит, но я усилился, он и слез: "До свиданья, – говорит, – я еще с тобой побеседую", – а как я пошел их провожать, он возьми меня, да с горки и пихни.

И старик заученным тоном повествовал, как он был у некрасовцев в Турции, как его хотели убить, как судили, как он сидел в Суздале, как его везде спасал крест с мощами, и он вынес из избы, низко наклоняясь в дверях, полый крест, где по медной оправе было вычеканено; "Мощи св. Петра, митрополита Московского, чудотворца, св. благоверной княгини Февронии Муромской, св. пророка Ионы, св. благоверного царевича Дмитрия, преподобной матери нашей Марии Египтяныни".

Внутри, через окна, были видны иконы по полкам, красноватый огонь лампадок и свечей, книги на окнах и столе, голая скамейка с поленом в изголовье. И старец Леонтий, нараспев, смотря некстати веселыми глазами на Ваню, говорил:

– Крепко, сынок, стой в вере правой, ибо что есть выше правой веры? Она все грехи покрывает и в дома вечного света водворяет. Вечный же свет Господа нашего Иисуса паче всего любить надлежит. Что есть вечно, что есть нетленно, как рай пресветлый, души – спасенье? Цветок ли пленяет тебя – завтра увядает, человека ли полюбишь – завтра умирает: впадут, потухнут очи ясные, пожелтеют щеки румяные, волос, зубов лишишься ты, и весь ты – червей добыча. Трупы ходячие – вот люди на свете сем.

– Теперь легче будет, позволят церкви строить, служить открыто, – старался Ваня отвлечь старика.

– Не гонись за тем, что легко, а к тому, что трудно стремись! От легкости, свободы да богатства народы гибнут, а в тяжких страданиях веру свою спасают. Хитер враг человеческий, тайны козни его – и всякую милость испытывать надо, откуда идет она.

– Откуда такая озлобленность? – проговорил Ваня, уходя со пчельника.

– И еще: разве люди виноваты, что они умирают? – соглашалась Марья Дмитриевна, – а я так еще больше полюбила бы то, что завтра осуждено на гибель.

– Любить-то все можно, да ничему одному сердца не отдавать, чтобы не быть съеденным, – заметил Саша, все время молчавший.

– Вот еще филозов объявился, – пренебрежительно заметила тетка.

– Что же, разве я без головы?

– И как это он не узнал, что вы церковный? А может, провидел он, голубчик, что вы к истинной вере придете? – рассуждала Арина Дмитриевна, умильно глядя на Ваню.

В комнате, освещенной одной лампадкой, было почти совсем темно; в окно было видно густо-красное, желтевшееверху небо заката и черный бор на нем за поляной, и Саша Сорокин, темнея у красневшего вечернего окна, продолжал говорить:

– Трудно это совместить. Как один из наших говорил; "Как после театра ты канон Иисусу читать будешь? Легче человека убивши". И точно: убить, украсть, прелюбодействовать при всякой вере можно, а понимать "Фауста" и убежденно по лестовке молиться – немыслимо, или уж это Бог знает что, черта дразнить. И ведь если человек греха не делает и правила исполняет, а в их надобность и спасительность не верит, так это хуже, чем не исполнять, да верить. А как верить, когда не верится? Как не знать, что знаешь, не помнить того, что помнишь? И тут нельзя судить: это мудро, это я буду исполнять, а то – пустяки, необязательно: кто тебя поставил судить так? Покуда церковь не отменены, все правила должны исполняться, и должны мы чуждаться светских искусств, не лечиться у докторов-иноверцев, все посты соблюдать. Старое православие только старики лесные могут держать, а зачем я буду зваться тем, чем не состою, и состоять, чем нужным не считаю? А

как я могу думать, что только наша кучка спасется, а весь мир во грехе лежит? А не думая этого, как я могу старообрядцем считаться? Также и всякую другую веру и жизнь, все чужие уничижающие принять жестоко, а все зараз понимая, правоверным ни в какой быть не можешь.

Голос Саши стих и снова раздался, так как Ваня, лежа на кровати, ничего не отвечал из темноты.

– Вот вам со стороны, может быть, понятней и видней, чем нам самим наша жизнь, вера, обряды, и люди наши вами поняты могут быть, а вы ими – нет, или только одна ваша часть, не главнейшая, поймется тятенькой или стариками нашими, и всегда вы бы были чужанин, внешний. Ничего тут не поделаешь. Я вас самих, Ванечка, как бы ни любил, ни уважал, а чувствую, что есть в вас, что меня давит и смущает. И отцы наши, и деды наши по-разному жили, думали, знали, и нам самим не сравняться еще с вами, – в чем-нибудь разница да скажется, и одно желание тут ничего не сделает.

Снова умолк Сашин голос, и долго было слышно только совсем далекое пение из открытых дверей молельны.

– А как же Марья Дмитриевна?

– Что Марья Дмитриевна?

– Как она думает, уживается?

– Кто ее знает как; богомольна и о муже скучает.

– Давно ее муж умер?

– Давно, уж лет восемь, я еще совсем мальчишкой был.

– Славная она у вас.

– Ничего, больших-то понятиев тоже не очень и у нее много, – проговорил Саша, закрывая окно.

К воротам еще подъехала тележка с гостями; Арина Дмитриевна, почти не садившаяся за стол, побежала навстречу, и с крыльца были слышны приветственные возгласы и поцелуи. В зале, где обедало человек десять мужчин, было шумно и жарко; взятая в подмогу Маланье босоногая Фроська поминутно бегала в погреб с большим стеклянным кувшином и назад, неся его наполненным холодным пенящимся квасом. В комнате, где обедали женщины, сидели Марья Дмитриевна за хозяйку, которая бегала от стола к столу, угощая, в кухню и навстречу все подъезжавшим новым гостям, Анна Николаевна с Натой и штук пять гостей, отиравших пот с лица уже мокрыми насквозь платками, меж тем как кушанья подавались все еще и еще, пилась мадера и наливка, и мухи лезли в грязные стаканы и кучами сидели по выбеленным стенам и скатерти в крошках. Мужчины поснимали пиджаки и в жилетах поверх цветных рубашек, красные и осовевшие, громко смеялись, говоря и икая. Солнце сквозь раскрытую дверь блестело через стеклянную горку на ярко пылавших лампадках и дальше, в соседней комнате, на крашенных клетках с канарейками, которые, возбуждаемые общим шумом, неистово пели. Поминутно гнали собак, лезших со двора, и дверь на блоке, на минуту задерживаемая босой ногой Фроськи, хлопала и визжала; пахло малиной, пирогами, вином и потом.

– Ну, посудите сами, наказываю ему отвечать телеграммой в Самару, а он хоть бы слово!

– Сначала на погреб, обдавши спиртом, снести, а уж на другой день с дубовой корой варить, – очень выходит вкусно.

– На Вознесенье громовский отец Василий прекрасную речь сказал: "Блаженны миротворцы – потому и вы о Чубыкинской богадельне помиритесь и попечителю долги простите и отчета не спрашивайте!" – смеху подобно!..

– Я говорю 35 рублей, а он мне дает 15...

– Голубой, уж такой голубой, и розовые разводы, – несло из женской комнаты.

– Ваше здоровье! Арина Дмитриевна, ваше здоровье! – кричали мужчины торопившейся на кухню хозяйке.

Стулья как-то разом зашумели, и все стали молча креститься на иконы в углу; Фроська уже тащила самовар, и Арина Дмитриевна хлопотала, чтобы гости не расходились далеко до чая.

– Неужели тебе нравится эта жизнь? – спрашивала Ната Ваню, пошедшего их проводить от сорокинских собак по двору.

– Нет, но бывает и хуже.

– Редко, – заметила Анна Николаевна, снова приотворяя калитку, чтобы освободить захлопнутый подол серого шелкового платья.

– Сядем здесь, Ната, я хотел бы поговорить с тобой.

– Сядем, пожалуй. О чем же ты хочешь говорить? – сказала девушка, садясь на скамью под тень больших берез рядом с Ваней. В стоявшей в стороне церкви производился ремонт, и в открытые двери слышалось церковное пение маляров, которым священник запретил петь внутри светские песни. Паперти, обсаженной густыми кустами шпырея, не было видно, но каждое слово было ясно слышно в вечернем воздухе; совсем вдали мычало стадо, идущее домой.

– О чем же ты хотел говорить со мной?

– Я не знаю; тебе, может, будет тяжело или неприятно вспоминать об этом.

– Ты, верно, хочешь говорить о том несчастном деле? – проговорила Ната, помолчав.

– Да, если ты можешь хоть сколько-нибудь объяснить его мне, сделай это.

– Ты заблуждаешься, если думаешь, что я знаю больше других; я только знаю, что Ида Гольберг застрелилась сама, и даже причина ее поступка мне неизвестна.

– Ты же была там в это время?

– Была, хотя и не за полчаса, а минут за десять, из которых минут семь простояла в пустой передней.

– Она при тебе застрелилась?

– Нет; именно выстрел-то и заставил меня войти в кабинет...

– И она была уже мертвой? Ната молча кивнула головой утвердительно. Маляры в церкви затаили: "Да исправится молитва моя".

– Пусти, черт! куда лезешь?! а ну тебя!

– А! – раздавались притворные крики женского голоса с паперти, меж тем как невидный партнер предпочитал продолжать возню молча.

– А! – еще выше, как крик тонущих, раздался возглас, и кусты шпырея сильно затрепетали в одном месте без ветра.

– "Жертва вечерняя!" – умиротворяюще заканчивали певшие внутри.

– На столе стоял графин или сифон – что-то стеклянное, бутылка коньяку, человек в красной рубашке сидел на кожаном диване, что-то деля около этого же стола, сам Штруп стоял справа, и Ида сидела, откинув голову на спинку кресла, у письменного стола...

– Она была уже неживая?

– Да, она уже, казалось, умерла. Едва я вошла, он сказал мне: "Зачем вы здесь? Для вашего счастья, для вашего спокойствия, уходите! Уходите сейчас же, прошу вас". Сидевший на диване встал, и я заметила, что он был без пояса и очень красивый; у него было красное, пылавшее лицо и волосы вились; мне он показался пьяным. И Штруп сказал: "Федор, проводите барышню".

– "Да будет воля Твоя", – пели уже другое в церкви; голоса на паперти, уже примиренные, тихо журчали без криков; женщина, казалось, тихонько плакала.

– Все-таки это – ужасно! – промолвил Ваня.

– Ужасно, – как эхо повторила Ната, – а для меня тем более: я так любила этого человека, – и она заплакала.

Ваня недружелюбно смотрел на как-то вдруг постаревшую, несколько обрюзгшую девушку с припухлым ртом, с веснушками, теперь слившимися в сплошные коричневатые пятна, с растрепанными рыжими волосами, и спросил:

– Разве ты любила Лариона Дмитриевича?

Та молча кивнула головой и, помолчав, начала необычно ласково:

– Ты, Ваня, не переписываешься с ним теперь?

– Нет, я даже адреса его не знаю, ведь он квартиру в Петербурге бросил.

– Всегда можно найти.

– А что, если б я и переписывался?

– Нет, так, ничего.

Из кустов тихо вышел молодец в пиджаке и картузе, и, когда он, поравнявшись, поклонился Ване, тот узнал в нем Сергея.

– Кто это? – спросила Ната.

– Приказчик Сорокиных.

– Это, вероятно, и есть герой только что бывшей истории, – как-то пошло улыбаясь, добавила Ната.

– Какой истории?

– А на паперти, разве ты ничего не слышал?

– Слышал, кричали бабы, да мне и ни к чему.

Ваня почти наткнулся на лежащего человека в белой паре с летней форменной фуражкой, сползшей с лица, на которое она была положена, с руками, закинутыми под голову, спящего на тенистом спуске к реке. И он очень удивился, узнав по лысине, вздернутому носу, редкой рыженькой бородке и всей небольшой фигуре – учителя греческого языка.

– Разве вы здесь, Даниил Иванович? – говорил Ваня, от изумленья даже забывши поздороваться.

– Как видите! Но что же вас так удивляет, раз вы сами здесь, тоже будучи из Петербурга?

– Что же я вас не встречал раньше?

– Очень понятно, раз я только вчера приехал. А вы здесь с семейством? – спрашивал грек, окончательно садясь и вытирая лысину платком с красной каемкой: – присаживайтесь, здесь тень и продувает.

– Да, моя тетка с двоюродной сестрой тоже здесь, но я живу отдельно, у Сорокиных, может слышали?

– Покуда еще не имел счастья. А здесь недурно, очень недурно: Волга, сады и все такое.

– А где же ваш котенок и дрозд, с вами?

– Нет, я ведь долго буду путешествовать...

И он с увлечением стал рассказывать, что вот он совершенно неожиданно получил небольшое наследство, взял отпуск и хочет осуществить свою давнишнюю мечту: съездить в Афины, Александрию, Рим, но в ожидании осени, когда будет менее жарко для южных странствий, поехал по Волге, останавливаясь, где ему понравится, с маленьким чемоданом и тремя-четырьмя любимыми книгами.

– Теперь в Риме, в Помпее, в Азии – интереснейшие раскопки, и новые литературные произведения древних там найдены. – И грек, увлекаясь, блестя глазами, снова сбросив фуражку, долго говорил о своих мечтах, восторгах, планах, и Ваня печально смотрел на сияющее переливающейся жизненностью некрасивое лицо маленького лысого грека.

– Да, интересно все это, очень интересно, – молвил он мечтательно, когда тот, кончив свои повествования, закурил папиросу.

– А вы будете здесь до осени? – вдруг вспомнил спросить Даниил Иванович.  
– Вероятно. Съезжу в Нижний на ярмарку и оттуда домой, – как бы стыдясь ничтожности своих планов, сознался Ваня.

– Что же, вы довольны? Сорокины эти – интересные люди?

– Они совсем простые, но добрые и радушные, – снова отвечал Ваня, недружелюбно думая о ставших вдруг так ему чужими людях. – Я очень скучаю, очень! Знаете, никого нет, кто бы не только мог заразить восторгом, но кто бы мог просто понять и разделить малейшее движение души, – вдруг вырвалось у Вани, – и здесь и, может быть, в Петербурге.

Грек зорко на него посмотрел.

– Смуров, – начал он несколько торжественно, – у вас есть друг, способный оценить высшие порывы духа и в котором вы всегда можете встретить сочувствие и любовь.

– Благодарю вас, Даниил Иванович, – сказал Ваня, протягивая греку свою руку.

– Не за что, – ответил тот, – тем более, что я говорил, собственно, не о себе.

– О ком же?

– О Ларионе Дмитриевиче.

– О Штрупе?

– Да... Пойдите, не прерывайте меня. Я отлично знаю Лариона Дмитриевича, я видел его после того несчастного случая, и я свидетельствую, что в этом он столько же виноват, как были бы виноваты вы, если бы, например, я утопился оттого, что у вас белокурые волосы. Конечно, Лариону Дмитриевичу в высшей степени все равно, что о нем говорят, но он высказывал сожаленье, что некоторые из дорогих ему лиц могут измениться к нему, и между другими называл вас. Имейте это в виду, как и то, что он теперь – в Мюнхене, в гостинице "Четырех времен года".

– Я его не сужу, но адрес его мне не нужен, и если вы приехали, чтобы сообщить мне это, – вы напрасно трудились.

– Мой друг, страшитесь самомнения. Буду ль я, старик, заезжать в Васильсурск по дороге из Петербурга в Рим, чтобы сообщить адрес Штрупа Ване Смурову? Я и не знал, что вы здесь. Вы – взволнованы, вы – нездоровы, и я, как добрый врач, как наставник, указываю, чего вам недостает – той жизни, что для вас воплощена в Штрупе, – вот и все.

– Какой вы складный, Ванечка! – говорил Саша, раздеваясь и смотря на голую фигуру Вани, стоявшего еще совсем на сухом песке и наклонившегося, чтобы зачерпнуть воды – смочить темя и под мышками, раньше чем войти в воду. Тот посмотрел на волновавшееся от расходившихся кругов в воде отражение своего высокого, гибкого тела с узкими бедрами и длинными стройными ногами, загоревшего от купанья и солнца, своих отросших светлых кудрей над тонкой шеей, больших глаз на круглом похудевшем лице – и, молча улыбнувшись, вошел в холодную воду. Саша, коротконогий, несмотря на высокий рост, белый и пухлый, с плеском бултыхнулся в глубокое место.

По всему берегу до стада были купающиеся ребяташки, с визгом бегавшие по берегу и воде, там и сям кучки красных рубашек и белья, а вдали, повыше, под ветлами, на ярко-зеленой скошенной траве тоже мелькали дети и подростки, своими нежно-розовыми телами напоминая картины рая в стиле Тома. Ваня с почти страстным весельем чувствовал, как его тело рассекает холодную глубокую воду и быстрыми поворотами, как рыба, пенит более теплую поверхность. Уставши, он плыл на спине, видя только блестящее от солнца небо, не двигая руками, не зная, куда плывет. Он очнулся от усилившихся криков на берегу, все удалявшихся по направлению к стаду и землечерпательной машине. Они бежали, надевая на ходу рубашки, и навстречу неслись крики; "Поймали, поймали, вытащили!"

– Что это?

– Утопленник, еще весной залился; теперь только нашли, за бревно зацепился – выплыть не мог, – рассказывали бегущие и обгоняющие их ребята. С горы бежала, громко

плача, женщина в красном платье и белом платке; достигши места, где на рогоже лежало тело, она упала лицом на песок и еще громче зарыдала, причитая.

– Арина... мать!.. – шептали кругом.

– Помните, я вам говорил биографию его жизни, – твердил подоспевший откуда-то Сергей Ване, смотревшему с ужасом на вспухший осклизлый труп с беформенным уже лицом, голый, в одних сапогах, отвратительный и страшный при ярком солнце среди шумных и любопытных ребят, чьи нежно-розовые тела виднелись через незастегнутые рубашки. – Один был сын, все в монахи идти хотел, три раза убежал, да ворочали; били даже, ничего не помогало; ребята пряники покупают, а он все на свечи; бабенка одна, паскуда, попалась тут, ничего он не понимал, а как понял, пошел с ребятами купаться и утоп; всего 16 лет было... – доносился, как сквозь воду, рассказ Сергея.

– Ваня! Ваня! – пронзительно вскричала женщина, подымаясь и снова падая на песок при виде вздувшегося осклизлого тела.

Ваня в ужасе бросился бежать в гору, спотыкаясь, царапаясь о кусты и крапиву, не оглядываясь, будто за ним гнались по пятам, и с бьющимся сердцем, шумом в висках остановился только в саду Сорокиных, где краснели яблоки на редко посаженных яблонях, за спокойной Волгой темнели леса, в траве стрекотали кузнечики, и пахло медом и калуфером.

"Есть связки, мускулы в человеческом теле, которых невозможно без трепета видеть", – вспоминались Ване слова Штрупа, когда он с ужасом при свече разглядывал в зеркало свое тонкое, теперь страшно бледное лицо с тонкими бровями и серыми глазами, ярко-красный рот и вьющиеся волосы над тонкой шеей. Он не удивился даже, что в такой поздний час вдруг вошла неслышно Марья Дмитриевна, плотно и тихо затворив за собою дверь,

– Что ж это будет? что ж это будет? – бросился он к ней, – впадут, побледнеют щеки, тело вздуется и осклизнет, глаза червяки выедят, все суставы распадутся в теле милом! А есть связки, мускулы в человеческом теле, которых невозможно без трепета видеть! Все пройдет, погибнет! Я же не знаю ничего, не видел ничего, а я хочу, хочу... Я же не бесчувственный, не камень какой; и я знаю теперь красоту свою. Страшно! страшно! Кто спасет меня?

Марья Дмитриевна, без удивления, радостно смотрела на Ваню. .

– Ванечка, голубь, жалко мне вас, жалко! Страшилась я минуты этой, да видно пришел час воли господней, – и, неспешно задув свечу, она обняла Ваню и стала целовать его в рот, глаза и щеки, все сильнее прижимая его к своей груди. Ване, сразу отрезвевшему, стало жарко, неловко и тесно, и, освобождаясь от объятий, он тихо повторял совсем другим уже голосом: "Марья Дмитриевна, Марья Дмитриевна, что с вами? Пустите, не надо". Но та все крепче его прижимала к своей груди, быстро и неслышно целуя в щеки, рот, глаза, и шептала: "Ванечка, голубь мой, радость моя".

– Да пусти же меня, противная баба! – крикнул, наконец, Ваня и, отбросив со всей силой обнимавшую его женщину, выбежал вон, хлопнув дверью.

– Что же мне теперь делать? – спрашивал Ваня у Даниила Ивановича, куда он прямо прибежал ночью из дому.

– По-моему, вам нужно уехать, – говорил хозяин, в халате поверх белья и ночных туфлях.

– Куда же я поеду? Неужели в Петербург? Спросят, отчего вернулся, да и скука.

– Да, это неудобно, но оставаться здесь вам невозможно, вы – совсем больны.

– Что ж мне делать? – повторял Ваня, беспомощно глядя на барабанившего по столу грека.

– Я ведь не знаю ваших условий и средств, как далеко вы можете уехать; да вам одним и нельзя ездить.

– Что ж мне делать?

– Если бы вы верили в мое расположение к вам и не придумывали Бог знает каких пустяков, я бы вам предложил, Смуров, поехать со мной.

– Куда?

– За границу.

– У меня денег нет.

– Нам бы хватило; потом, со временем, мы бы рассчитались; доехали бы до Рима, а там было бы видно, с кем вам вернуться и куда мне ехать дальше. Это было бы самое лучшее.

– Неужели вы серьезно говорите, Даниил Иванович?

– Как нельзя серьезнее.

– Неужели это возможно: я – в Риме?

– И даже очень, – улыбнулся грек.

– Я не могу поверить!.. – волновался Ваня.

Грек молча курил папиросу и, улыбаясь, смотрел на Ваню.

– Какой вы славный, какой вы добрый! – изливался тот.

– Мне очень приятно самому проехаться не одному: конечно, мы будем экономить в дороге, останавливаться не в слишком шикарных отелях, а в местных гостиницах.

– Ах, это будет еще веселей! – радовался Ваня.

– Так завтра утром я поговорю с вашей тетушкой.

И до утра они говорили о поездке, намечали остановки, города, местечки, строили планы экскурсий, – и, выйдя при ярком солнце на улицу, поросшую травой, Ваня удивился, что он еще в Василе и что видна еще Волга и темные леса за нею.

### Часть третья

Они сидели втроем в кафе на Corso после "Тангейзера" и в шумном полунезнакомом итальянском говоре, звяканье тарелок и рюмок с мороженым, отдаленных, доносившихся сквозь табачный дым звуках струнного оркестра, чувствовали себя почти интимно, особенно дружески настроенные близкой разлукой. Сидевшие рядом за столиком офицер с целым петушиным крылом на шляпе и две дамы в черных, но кричащих платьях, не обращали на них внимания, и через тюль в открытое окно виднелись уличные фонари, проезжающие экипажи, прохожие по тротуарам и мостовой, и слышался ближайший фонтан на площади.

Ваня имел вид совсем мальчика в статском, казавшемся почему-то франтовским, несмотря на полную обычность, платье, очень бледного, высокого и тонкого; Даниил Иванович, в качестве, как он смеялся, "наставника путешествующего принца", покровительственно беседовал с ним и с Уго Орсини.

– Всегда, когда я слышу эту первую во второй редакции, в редакции уже Тристановского Вагнера, сцену, я чувствую небывалый восторг, пророческий трепет, как при картинах Клингера и поэзии д'Аннунцио. Эти танцы фавнов и нимф, эти на вдруг открывающихся, сияющих, лучезарных, небывалых, но до боли глубоко знакомых античных пейзажах, явления Леды и Европы; эти амуры, стреляющие с деревьев, как на "Весне" Боттичелли, в танцующих и замирающих от их стрела томительных позах фавнов, – и все это перед Венерой, стерегущей с нездешней любовью и нежностью спящего Тангейзера, – все это как веянье новой весны, новой, кипящей из темнейших глубин страсти к жизни и к

солнцу! – И Орсини отер платком свое бледное, гладко выбритое, начавшее толстеть лицо с черными без блеска глазами и тонким извилистым ртом.

– Ведь это единственный раз, что Вагнер касается древности, – заметил Даниил Иванович, – и я не раз слышал эту оперу, но без переработанной сцены с Венерой, и всегда думал, что по мысли она с "Парсифалем" – однородные и величайшие замыслы Вагнера; но я не понимаю и не хочу их заключенья: к чему это отречение? аскетизм? Ни характер гения Вагнера, ничто не влекло к таким концам!

– Музыкально эта сцена не особенно вяжется с прежде написанным, и Венера несколько подражает Изольде.

– Вам, как музыканту, это лучше знать, но смысл и идея, это – достоянье уже поэта и философа.

– Аскетизм – это, в сущности, наиболее противоестественное явление, и целомудрие некоторых животных – чистейший вымысел.

Им подали крепкого мороженого и воды в больших бокалах на высоких ножках. Кафе несколько пустело, и музыканты повторяли уже свои пьесы.

– Вы завтра уезжаете? – спрашивал Уго, поправляя красную гвоздику в петлице.

– Нет, хотелось бы проститься с Римом и подольше не расставаться с Даниилом Ивановичем, – говорил Ваня.

– Вы в Неаполь и Сицилию? А вы?

– Я во Флоренцию с каноником.

– Мори?

– Именно.

– Как вы его знаете?

– Мы с ним познакомились у Босей Гаetano, – знаете, археолог?

– Что живет на via Nazionale?

– Да. Он ведь очень милый, этот каноник.

– Да, я могу по правде сказать: ныне отпускаешь; с рук на руки передаю вас монсиньору.

Ваня ласково улыбался.

– Неужели я вам так надоел?

– Ужасно! – шутил Даниил Иванович.

– Мы с вами, вероятно, встретимся во Флоренции; я через неделю там буду: там играют мой квартет.

– Очень рад. Вы, знаете, монсиньора всегда найдете в соборе, а он будет знать мой адрес.

– А я остановлюсь у маркизы Моратти, borgo Santi Apostoli. Пожалуйста, без церемоний, – маркиза одинока и всем рада. Она – моя тетка, и я ее наследник.

Орсини сладко улыбался тонким ртом на белом толстеющем лице и черными без блеска глазами, и перстни блестели на его музыкально развитых в связках с коротко обстриженными ногтями пальцах.

– Этот Уго похож на отравителя, не правда ли? – спрашивал Ваня у своего спутника, идя домой вверх по Корсо.

– Что за фантазия? Он – очень милый человек, больше ничего.

Несмотря на мелкий дождь, текший ручейками вдоль тротуара под гору, прохлада музея была приятна и желанна. После посещения Колизея, форумов, Палатина, совсем перед отъездом, они стояли в небольшой зале перед "Бегущим юношей" почти одни.

– Только торс, так называемый "Илионей", может сравниться с этим по жизни и красоте юношеского тела, где видно под белой кожей, как струится багряная кровь, где все мускулы опьяняюще-пленительны и где нам, современникам, не мешает отсутствие рук и

головы. Само тело, материя, погибнет, и произведения искусства, Фидий, Моцарт, Шекспир, допустим, погибнут, но идея, тип красоты, заключенные в них, не могут погибнуть, и это, может быть, единственно ценное в меняющейся и преходящей пестроте жизни. И как бы ни были грубы осуществленья этих идей, они – божественны и чисты; разве в религиозных практиках не облакались высочайшие идеи аскетизма в символические обряды, дикие, изуверские, но освященные скрытым в них символом, божественные?

Делая последние наставления перед прощаньем, Даниил Иванович говорил:

– Вы, Смуров, послушайте меня: если понадобится духовное утешенье и способ недорого устроиться, обращайтесь к монсеньору, но если деньги у вас совсем выйдут или вам будет нужен умный и прекрасный совет, – обратитесь к Лариону Дмитриевичу. Я дам вам его адрес. Хорошо? обещаете мне?

– Неужели больше не к кому? Мне бы этого очень не хотелось.

– У меня более верного никого нет; тогда уже ищите сами.

– А Уго? Он не поможет?

– Вряд ли, он сам почти всегда без денег. Да я не знаю, что вы имеете против Лариона Дмитриевича, даже до того, чтобы не обратиться к нему письменно? Что случилось достаточного объяснить эту перемену?

Ваня долго смотрел на бюст Марка Аврелия в юности, не отвечая, и, наконец, начал монотонно и медленно:

– Я ни в чем не виню его, нисколько не считаю себя вправе сердиться, но мне невыносимо жалко, что, помимо моей воли, узнавши некоторые вещи, я не могу по-прежнему относиться к Штрупу; это мне мешает видеть в нем желанного руководителя и друга.

– Какой романтизм, если бы это не звучало заученным! Вы, как прежние "неземные" барышни, воображавшие, что кавалеры должны думать, что девицы не едят, не пьют, не спят, не храпят, не сморкаются. Всякий человек имеет свои отправления, нисколько его не унижающие, как бы ни были неприятны для чужого взгляда. Ревновать же к Федору – значит, признавать себя равным ему и имеющим одинаковое значение и цель. Но, как это ни мало остроумно, все же лучше романтической щепетильности.

– Оставим все это; если иначе нельзя, я напишу Штрупу.

– И хорошо сделаете, мой маленький Катон.

– Вы же сами учили презирать Катона.

– По-видимому, не особенно успешно.

Они шли по прямой дорожке через лужайку и клумбы с неясными в сумерках цветами к террасе; беловатый нежный туман стлался, бежал, казалось, догоняя их; где-то кричали совы; на востоке неровно и мохнато горела звезда в начавшем розоветь тумане, и окна в переплетках старинного дома прямо против них, все освещенные, необычно и странно горели за уже отражающими утреннее небо стеклами. Уго кончил насвистывать свой квартет и молча курил папиросу. Когда они проходили мимо самой террасы, не достигая головами низа решетки, Ваня, явственно услыша русский говор, приостановился.

– Итак, вы пробудете еще долго в Италии?

– Я не знаю, вы видите, как мама слаба; после Неаполя мы пробудем в Лугано, и я не знаю сколько времени.

– Так долго я буду лишен возможности вас видеть, слышать ваш голос... – начал было мужской голос.

– Месяца четыре, – поспешно прервал его женский.

– "Месяца четыре!" – как эхо повторил первый.

– Я не думаю, чтобы вы стали скучать...

Они умолкли, услышав шаги поднимающихся Вани и Орсини, и в утренних сумерках была только смутно видна фигура сидящей женщины и стоявшего рядом не очень высокого господина. Войдя в зал, где их охватило несколько душное тепло многолюдной комнаты, Ваня спросил у Уго:

– Кто были эти русские?

– Блонская, Анна, и один ваш художник, – не помню его фамилии.

– Он, кажется, влюблен в нее?

– О, это всем известно, так же как его распутная жизнь.

– Она красавица? – спрашивал несколько еще наивно Ваня.

– Вот посмотрите.

Ваня обернулся и увидел входящей тоненькую бледную девушку, с гладкими, зачесанными низко на уши темными волосами, тонкими чертами лица, несколько большим ртом и голубыми глазами. За нею минут через пять быстро вошел, горбясь, человек лет 26-ти, с острой белокурой бородкой, курчавыми волосами, очень выпуклыми светлыми глазами под густыми бровями цвета старого золота, с острыми ушами, как у фавна.

– Он любит ее и ведет распутную жизнь, и то и другое всем известно? – спрашивал Ваня.

– Да, он слишком ее любит, чтобы относиться к ней как к женщине. Русские фантазии! – добавил итальянец.

Разъезжались, и толстый духовный, закатывая глаза, повторял:

– Его святейшество так устает, так устает... В окна резко сверкнул луч солнца, и слышался глухой шум подаваемых карет.

– Итак, до свидания во Флоренции, – говорил Орсини, пожимая руку Ване.

– Да, завтра еду.

Они все лежали на покрытых цветными стегаными тюфячками подоконниках: синьоры Польдина и Филумена в одном окне и синьора Сколастика с кухаркой Сантиной – в другом, когда монсиньор подвез Ваню по узкой, темной и прохладной улице к старому дому с железным кольцом вместо звонка у двери. Когда первый порыв шума, вскрикиваний, восклицаний улегся, синьора Польдина одна продолжала ораторствовать:

– Уллис говорит: "Привезу синьора русского, будет жить с нами", – Уллис, ты шутишь, у нас никогда никто не жил; он – принц, русский барин, как мы будем за ним ходить? – Но, что брату придет в голову, он сделает. Мы думали, что русский синьор – большой, полный, высокий, вроде, как мы видели господина Бутурлина, а тут такой мальчишечка, такой тоненький, такой голубчик, такой херувимчик, – и старческий голос синьоры Польдины умиленно смягчался в сладких кадансах.

Монсиньор повел Ваню осматривать библиотеку, и сестры удалились на кухню и в свою комнату. Монсиньор, подобрав сутану, лазил по лестнице, причем можно было видеть его толстые икры, обтянутые в черные домашней вязки чулки и толстейшие туфли; он громко читал с духовным акцентом названия книг, могущих, по его мнению, интересовать Ваню, и молча пропускал остальные – коренастый и краснощекий, несмотря на свои 65 лет, веселый, упрямый и ограниченно-поучительный. На полках стояли и лежали итальянские, латинские, французские, испанские, английские и греческие книги. Фома Аквинский рядом с Дон-Кихотом, Шекспир – с разрозненными житиями святых, Сенека – с Анакреоном.

– Конфискованная книга, – объяснил каноник, заметив удивленный взгляд Вани и убирая подальше небольшой иллюстрированный томик Анакреона.

– Здесь много конфискованных у моих духовных детей книг. Мне они не могут принести вреда.

– Вот ваша комната! – объявил Морти, вводя Ваню в большую квадратную голубоватую комнату с белыми занавесями и пологом у кровати посередине; головатые стены

с гравюрами святых и мадонны "доброго совета", простой стол, полка с книгами наставительного содержания, на комод под стеклянным колпаком восковая крашеная, одетая в сшитый из материи костюм enfant de choeur кукла св. Луиджи Гонзага, кропильница со святой водой у двери – придавали комнате характер кельи, и только пианино у балконной двери и туалетный стол у окна мешали полноте сходства.

– Кошка, ах, кошка, брысь, брысь, – бросилась Польдина на толстого белого кота, явившегося для полного торжества в залу.

– Зачем вы его гоните? Я очень люблю кошек, – заметил Ваня.

– Синьор любит кошек! Ах, сыночек! Ах, голубчик! Филумена, принеси Мишину с котятками показать синьору... Ах, голубчик!

Они ходили с утра по Флоренции, и монсиньор певучим громким голосом сообщал сведения, события и анекдоты как XIV-го, так и XX-го веков, одинаково с увлечением и участием передавая и скандальную хронику современности и историйки из Вазари; он останавливался посреди людных переулков, чтобы развивать свои красноречивые, большею частью обличительные периоды, заговаривал с прохожими, с лошадьми, собаками, громко смеялся, напевал, и вся атмосфера вокруг него – с несколько простолюдинской вежливостью, грубоватой деликатностью, незамысловатая в своей поучительности, как и в своей веселости, – напоминала атмосферу новелл Саккетти. Иногда, когда запас рассказов не доставал его потребности говорить, говорить образно, с интонацией, с жестами, делать из разговора примитивное произведение искусства – он возвращался к стариннейшим сюжетам новеллистов и снова передавал их с наивным красноречием и убежденностью.

Он всех и все знал, и каждый угол, камень его Тосканы и милой Флоренции имел свои легенды и анекдотическую историчность. Он всюду водил Ваню с собою, пользуясь его положением как проезжего человека. Тут были и прогорающие маркизы, и графы, живущие в запущенных дворцах, играющие в карты и ссорящиеся из-за них со своими лакеями; тут были инженеры и доктора, купцы, живущие просто, по-старине: экономно и замкнуто; начинающие музыканты, стремящиеся к славе Пуччини и подражающие ему безбородыми толстоватыми лицами и галстухами; персидский консул, живший под Сан-Миньято с шестью племянницами, толстый, важный и благосклонный; аптекаря; какие-то юноши на посылках; обращенные в католичество англичанки и, наконец, m-me Монье, эстетка и художница, жившая во Фиезоле с целой компанией гостей в вилле, расписанной нежными весенними аллегориями, с видом на Флоренцию и долину Арно, вечно веселая, маленького роста, щебечущая, рыжая и безобразная.

Они остались на террасе перед столом, где на розовой скатерти густо темнели в уже надвигающихся сумерках темнокрасные сплошь, как лужи крови, тарелки; и запах сигар, земляники и вина в недопитых стаканах смешивался с запахом цветов из сада. Из дому слышался женский голос, поющий старинные песни, прерываемые то коротким молчанием, то продолжительным говором и смехом; а когда внутри зажегся огонь, то вид с полутемной уже террасы напоминал постановку "l'Intérieur" Метерлинка. И Уго Орсини с красной гвоздикой в петлице, бледный и безбородый, продолжал говорить:

– Вы не можете представить, с какой женщиной он теряет себя; если человек – не аскет, нет большего преступления, как чистая любовь. Имея любовь к Блонской, смотрите только, до кого он спустился: хорошего в Чибо – только ее развратные русалочки глаза на бледном лице. Ее рот, – ах, ее рот! – послушайте только, как она говорит; нет пошлости, которую бы она не повторила, и каждое ее слово – вульгарность! У нее, как у девушки в сказке, при каждом слове выскакивает изо рта мышь или жаба. Положительно!.. И она его не отпустит: он забудет и Блонскую, и свой талант, и все на свете для этой женщины. Он погибает как человек и особенно как художник.

– И вы думаете, что если бы Блонская... если бы он любил ее иначе, он мог бы разорвать с Чибо?

– Думаю.

Помолчав, Ваня опять робко начал:

– И для него неужели вы считаете недоступной чистую любовь?

– Вы видите, что выходит? Стоит посмотреть на его лицо, чтобы понять это. Я ничего не утверждаю, так как нельзя ручаться ни за что, но я вижу, что он погибает, и вижу отчего, и меня это бесит, потому что я его очень люблю и ценю, и потому я в равной мере ненавижу и Чибо, и Блонскую.

Орсини докурил свою папиросу и вошел в дом, и Ваня, оставшись один, все думал о сутуловатом художнике со светлыми, кудрявыми волосами и острой бородой, и со светлыми серыми, очень выпуклыми под густыми бровями цвета старого золота глазами, насмешливыми и печальными. И почему-то ему вспомнился Штруп.

Из залы доносился голос m-me Монье, птичий и аффектированный:

– Помните, у Сегантини, гений с огромными крыльями над влюбленными, у источника на высотах? Это у самих любящих должны бы быть крылья, у всех смелых, свободных, любящих.

– Письмо от Ивана Странник; милая женщина! Посылает нам поклон и благословенье Анатоля Франса. Целую имя твое, великий учитель.

– Ваша? на слова д'Аннунцио? конечно, разумеется, что же вы молчали?

И был слышен шум отодвигаемых стульев, звук фортепиано в громких и гордых аккордах, и голос Орсини, начавшего с глуповатой страстностью широкую, несколько банальную мелодию.

– О, как я рада! Дядя, говорите? бесподобно! – щебетала m-me Монье, выбегая на террасу, вся в розовом, рыжая, безобразная и прелестная.

– Вы здесь? – наткнулась она на Ваню, – новость! Ваш соотечественник приехал. Но он не русский, хотя из Петербурга; большой мне друг; он – англичанин. А? что? – бросала она, не дожидаясь ответа, и скрылась навстречу приедем по широкой проезжей дороге в саду, уже освещенном луной.

– Ради Бога, уйдемте, я боюсь, я не хочу этого, уйдемте, не прощаясь, сейчас, сию минуту, – торопил Ваня каноника, сидевшего за мороженым и смотревшего во все глаза на Ваню.

– Но да, но да, мое дитя, но я не понимаю, чего вы волнуетесь; идемте, я только найду свою шляпу.

– Скорей, скорей cher père – изнывал Ваня в беспричинном страхе.

– Сюда, сюда, там едут! – свертывал он вбок с главной дороги, где был слышен стук копыт и колес экипажа, и на повороте по узкой дорожке на лунный свет неожиданно, совсем близко от них, вышли, обойдя ближайшей дорогой, m-me Монье с несколькими гостями и безошибочно, ясно освещенный, несомненный, при лунном свете – Штруп.

– Останемся, – шепнул Ваня, сжимая руку каноника, который ясно видел, как улыбающееся взволнованное лицо его питомца покрылось густым румянцем, заметным даже при луне.

Они выехали на четырех ослах в одноколках из-под ворот дома, построенного еще в XIII веке, с колодцем в столовой второго этажа, на случай осады, с очагом, в котором могла бы поместиться пастушья лачуга, с библиотекой, портретами и капеллой. На случай холода при подъеме лакеи выносили плащи и пледы, кроме посланных вперед с провизией. Приехавшие из Флоренции через станцию Борго-сан-Лоренцо, потом на лошадях мимо Скарперии с ее замком и стальными изделиями, мимо Сант-Агаты, спешили кончить завтрак, чтобы засветло вернуться с гор, и без разговоров слышен был только стук вилок и

ножей и одновременно уже ложечек в кофе. Проехавши виноградники и фермы среди каштанов, поднимались все выше и выше по извилистой дороге, так что случалось первому экипажу находиться прямо над последним, покидая более южные растения для берез, сосен, мхов и фиалок, где облака были видны уже внизу. Не достигая еще вершины Джуого, откуда, говорилось, можно было видеть Средиземное и Адриатическое моря, они увидели вдруг при повороте Фиренцуолу, казавшуюся кучкой красно-серых камней, извилистую большую дорогу к Фаенце через нее и подвигавшийся старомодный дилижанс. Дилижанс остановился, чтобы дать одной из пассажирок выйти за своей нуждой, и возница на высоких козлах мирно курил в ожидании, когда опять можно будет тронуться в путь.

– Как это напоминает блаженной памяти Гольдони! Какая восхитительная простота! – восторгалась m-me Монье, хлопая бичом с красной рукояткой. Им предложили яичницу, сыру, кьянти и салами в прокопченной таверне, напоминавшей разбойничий притон, и хозяйка, кривая и загорелая женщина, прижавшись к спинке деревянного стула щекою, слушала, как мужчина без пиджака, в позеленевшей фетровой шляпе, чернобрый и большеглазый, рассказывал господам про нее:

– Давно было известно, что Беппо здесь бывает по ночам... Карабиньеры говорят ей: "Тетка Паска, не брезгуй нашими деньгами, а Беппо все равно попадетсЯ". Она думала, не решалась... она – честная женщина, посмотрите... Но судьба всегда будет судьбой; раз он пришел со свадьбы земляка выпивши и лег спать... Паска предупредила раньше карабиньеров и свистнула, а ножи и ружье раньше отобрала от Беппо. Что он мог сделать? он – человек, синьоры...

– Как он ругался! Связанный, он бросил ногами вот эту самую скамейку, повалился и стал кататься! – говорила Паска сиповатым голосом, блестя зубами и своим единственным глазом и, улыбаясь, будто рассказывала самые приятные вещи.

– Да, да, она молодец – Паска, даром что кривая! Еще стаканчик? – предлагал бородатый мужчина, хлопая в то время хозяйку по плечу.

– Смуров, Орсини, вернитесь скорее наверх, я забыла свой зонтик, вы последние, мы вас подождем! А? что? Зонтик, зонтик! – кричала с первой тележки m-me Монье, осаживая ослов и оборачивая назад свое безобразное, розовое и улыбающееся лицо в развевающихся рыжих локонах.

Таверна была пуста, необрунный стол, сдвинутые скамьи и стулья напоминали только что бывших гостей, и за занавеской, где скрывалась кровать, были слышны вздохи и неясный шепот.

– Кто тут есть? – окликнул Орсини с порога, – тут синьора забыла зонтик; не видели ли?

За занавеской зашептались; потом Паска, трепаная, без платка и лифа, поправляя на ходу грязную юбку, загорелая, худая и, несмотря на свою молодость, до страшного старая, молча показала на стоявший в углу зонтик, белый кружевной, с неопределенным желтоватым рисунком наверху, с белой ручкой. Из-за занавески мужской голос крикнул: "Паска, а Паска? ты скоро? ушли они?"

– Сейчас, – хрипло ответила женщина и, подойдя к обломку зеркала на стене, сунула в трепаные волосы красную гвоздику, забытую Орсини.

Они были почти единственные в театре, следившие с полным вниманием за излияниями Изольды Брангэне и почти не заметившими, как вошел король в ложу против сцены и, неловко поклонившись встретившей его приветственными криками публике, опустился на стул у самого барьера со скучающим и деловым видом, маленький, усатый и большоголовый, с сентиментальным и жестким лицом. Несмотря на действие, в зале было полное освещение; дамы в ложах, декольтированные и в колье, сидели почти спиной к сцене, переговариваясь и улыбаясь; и кавалеры с бутоньерками, скучные и корректные,

делали визиты из ложи в ложу. Подавали мороженое, и пожилые господа, сидевшие в глубине лож, читали, держа развернутыми, газеты.

Ваня, сидя между Штрупом и Орсини, не слышал шепота и шума вокруг, весь поглощенный мыслью об Изольде, которой чудились рожки охоты в шелесте листьев.

– Вот апофеоз любви! Без ночи и смерти это была бы величайшая песнь страсти, и сами очертания мелодии и всей сцены как ритуальны, как подобны гимнам! – говорил Уго совсем побледневшему Ване.

Штруп, не оборачиваясь, смотрел в бинокль на ложу против них, где сидели тесно друг к другу белокурый художник и небольшая женщина с ярко-черными волнистыми волосами, стоячими белесоватыми огромными глазами на бледном, не нарумяненном лице, с густо красным большим ртом, в ярко-желтом, вышитом золотом платье, заметная, претенциозная и с подбородком вульгарным и решительным до безумия. И Ваня машинально слушал рассказы о похождениях этой Вероники Чибо, где сплетались разные имена мужчин и женщин, погибших через нее.

– Она – полнейшая негодяйка, – доносился голос Уго, – тип XVI века.

– О! слишком шикарно для нее; просто – поганая баба, – и самые грубые названия слышались из уст корректных кавалеров, глядевших с желанием на это желтое платье и русалочные развратные глаза на бледном лице. Когда Ване приходилось обращаться с простейшими вопросами к Штрупу, он краснел, улыбаясь, и было впечатление, будто говоришь только что помирившись после бурной ссоры или с выздоравливающим после долгой болезни.

– Я все думаю о Тристане и Изольде, – говорил Ваня, идя с Орсини по коридору. – Ведь вот идеальнейшее изображение любви, апофеоз страсти, но ведь если смотреть на внешнюю сторону и на конец истории, в сущности, не то же ли самое, что мы застали в таверне на Джуого?

– Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать? Вас смущает самое присутствие плотского соединенья?

– Нет, но во всяком реальном поступке есть смешное и уничижающее; ну ведь приходилось же Изольде и Тристану расстегивать и снимать свое платье, а ведь плащи и брюки были и тогда так же мало поэтичны, как у нас пиджаки?

– О! какие мысли! Это забавно! – рассмеялся Орсини, удивленно глядя на Ваню. – Это же всегда так бывает; я не понимаю, чего вы хотите?

– Раз голая сущность – одна и та же, не все ли равно, как к ней дойти, – ростом ли мировой любви, животным ли порывом?

– Что с вами? Я не узнаю друга каноника Морти. Разумеется, факт и голая сущность не важны, а важно отношение к ним – и самый возмутительный факт, самое невероятное положение может оправдаться и очиститься отношением к нему, – проговорил Орсини серьезно и почти поучительно.

– Может, это и правда, несмотря на свою наставительность, – заметил Ваня улыбаясь и, севши рядом со Штрупом, внимательно посмотрел на него сбоку.

Они приехали несколько рано на вокзал провожать m-me Монье, уезжавшую в Бретань, чтобы провести недели две перед Парижем. На бледно-желтом небе белели шары электрических фонарей, раздавались крики: "pronti, partenza", суетились пассажиры на более ранние поезда, и из буфета беспрестанно доносились требования и звяк ложечек. Они пили кофе в ожидании поезда; букет роз gloire de Dijon лежал на развернутом "Фигаро" рядом с перчатками m-me Монье, сидевшей в платье маисового цвета с бледно-желтыми лентами, и кавалеры острили над только что вычитанными политическими новостями, – как у соседнего стола показалась Вероника Чибо в дорожном платье с опущенной зеленой вуалью, художник с портпледом и за ними носильщик с вещами.

– Смотрите, они уезжают! Он окончательно погибнет! – сказал Уго, поздоровавшись с художником и отходя к своей компании.

– Куда они едут? Разве он ничего не видит? Подлая, подлая! Чибо подняла вуаль, бледная и вызывающая, молча показала носильщику место, куда поставить вещи, и положила руку на рукав своего спутника, будто беря его в свое владение.

– Смотрите, – Блонская; как она узнала? Я не завидую ей и Чибо, – шептала m-me Монье, меж тем как другая женщина, вся в сером, быстро шла к сидевшему спиной и не видевшему ее художнику и неподвижно уставившейся русалочными глазами его спутнице. Подойдя, она заговорила тихо по-русски:

– Сережа, зачем и куда вы едете? И почему это – тайна для меня, для всех нас? Разве вы не друг всем нам? Все равно я знаю, и знаю, что это – ваша гибель! Может быть, я сама виновата и могу что-нибудь поправить?

– Что же тут поправлять?

Чибо смотрела неподвижно, прямо в упор на Блонскую, будто не видя ее, слепая.

– Может быть, вас удержит, если я выйду за вас замуж? Что я люблю вас, вы знаете.

– Нет, нет, я ничего не хочу! – отрывисто и грубо, будто боясь уступить, отвечал тот.

– Неужели ничто не может тут помочь? неужели это – бесповоротно?

– Может быть. Многое случается слишком поздно.

– Сережа, опомнитесь! Вернемся, ведь вы погибнете, не только как художник, но и вообще.

– Что тут говорить? Поздно поправлять, и потом я так хочу! – вдруг почти крикнул художник. Чибо перевела глаза на него.

– Нет, вы так не хотите, – говорила Блонская.

– Что же, я сам не знаю, чего я хочу?

– Не знаете. И какой вы мальчик, Сережа!

Чибо поднялась вслед за носильщиком, понесшим чемодан, и неслышно обратилась к своему спутнику; тот встал, надевая пальто, не отвечая Блонской.

– Итак, Сережа, Сережа, вы все-таки уезжаете?

M-me Монье, шумно щебеча, прощалась со своими друзьями и уже кивая рыжей головой из-за букета роз *gloire de Dijon* из купе. Возвращаясь, они видели, как Блонская быстро шла пешком, вся в сером, опираясь на зонтик.

– Мы будто были на похоронах, – заметил Ваня.

– Есть люди, которые ежеминутно будто на своих собственных, – ответил, не глядя на Ваню, Штруп.

– Когда художник погибает, это бывает очень тяжело.

– Есть люди, художники жизни; их гибель не менее тяжела.

– И есть вещи, которые бывает иногда слишком поздно делать, – добавил Ваня.

– Да, есть вещи, которые бывает иногда слишком поздно делать, – повторил Штруп.

Они вошли в низенькую каморку, освещаемую только открытой дверью, где сидел, наклонившись над ботинком, старый сапожник с круглыми, как на картинках Доу, очками. Было прохладно после уличного солнца, пахло кожей и жасмином, несколько веток которого стояло в бутылке совсем под потолком на верхней полке шкафа с сапогами; подмастерье смотрел на каноника, сидевшего расставя ноги и отиравшего пот красным фуляром, и старый Джузеппе говорил певуче и добродушно:

– Я – что? Я – бедный ремесленник, господа, но есть артисты, артисты! О, это не так просто сшить сапог по правилам искусства; нужно знать, изучить ногу, на которую шьешь, нужно знать, где кость шире, где уже, где мозоли, где подъем выше, чем следует. Ведь нет ни одной ноги у человека как у другого, и нужно быть неучем, чтобы думать, что вот сапог и сапог, и для всех ног он подходит, а есть, ах, какие ноги, синьоры! И все они должны ходить.

Господь Бог создал обязательным для ноги только иметь пять пальцев да пятку, а все другое одинаково справедливо, понимаете? Да, если у кого и шесть и четыре пальца, так Господь Бог же наделил его такими ногами и ходить ему нужно, как и другим, и вот это сапожный мастер и должен знать и сделать возможным.

Каноник громко глотал кьянти из большого стакана и сгонял мух, все садившихся ему на лоб, покрытый каплями пота, своей широкополой черной шляпой; подмастерье продолжал на него смотреть, и речь Джузеппе равномерно и певуче звучала, нагоняя сон. Когда они проходили соборную площадь, чтобы пройти в ресторан Джотто, посещаемый духовенством, они встретили старого графа Гидетти, нарумяненного, в парике, шедшего почти опираясь на двух молоденьких девушек скромного, почти степенного вида. Ваня вспомнил рассказы про этого полуразвалившегося старика, про его так называемых "племянниц", про возбуждения, которых требовали притупленные чувства этого старого развратника с мертвенным накрашенным лицом и блиставшими умом и остроумием живыми глазами; он вспомнил его разговоры, где из шамкающего рта вылетали парадоксы, остроты и рассказы, все более и более теряющиеся в наше время, и ему слышался голос Джузеппе, говоривший: "Да, если у кого и шесть и четыре пальца, так Господь Бог же наделил его такими ногами и ходить ему нужно, как и другим".

– Камни, стены краснели, когда велся процесс графа, – говорил Мори, проходя налево в комнату, наполненную черными фигурами духовных и немногими посетителями из мирян, – желавших по пятницам есть постное. Пожилая англичанка с безбородым юношей говорила с сильным акцентом по-французски:

– Мы, обращенные, мы больше любим, более сознательно понимаем всю красоту и прелесть католицизма, его обрядов, его догматов, его дисциплины.

– Бедная женщина, – пояснял каноник, кладя шляпу на деревянный диван рядом с собою, – богатой, хорошей семьи – и вот ходит по урокам, нуждается, так как узнала истинную веру и все от нее отшатнулись.

– Risotto! три порции!

– Нас было больше 300 человек, когда мы шли из Понтасьева, паломников к Аннуциате всегда достаточно. "Св. Георгий с ним да с Михаилом Архангелом да со святой Девой, с такими покровителями можно ничего не страшиться в жизни!" – терялся в общем шуме акцент англичанки.

– Он был родом из Вифинии; Вифиния – Швейцария Малой Азии с зеленеющими горами, горными речками, пастбищами, и он был пастухом раньше, чем его взял к себе Адриан; он сопровождал императора в его путешествии, во время одного из которых он и умер в Египте. Носились смутные слухи, что он сам утопился в Ниле, как жертва богам за жизнь своего покровителя, другие утверждали, что он утонул, спасая Адриана во время купанья. В час его смерти астрономы открыли новую звезду на небе; его смерть, окруженная таинственным ореолом, его, оживившая уже приходившее в застой искусство, необыкновенная красота действовали не только на придворную среду, – и неутешный император, желая почтить своего любимца, причислил его к лику богов, учреждая игры, возводя палестры и храмы в его честь, и прорицалища, где на первых порах он сам писал ответы старинными стихами. Но было бы ошибкой думать, что новый культ был распространен насильно, только в кружке царедворцев, был официален и пал вместе с его основателем. Мы встречаем гораздо позднее, несколькими почти столетиями, общины в честь Дианы и Антиноя, где целью было – погребение на средства общины ее членов, трапезы в складчину и скромные богослужения. Члены этих общин – прототипов первых христианских – были люди из беднейшего класса, и до нас дошел полный устав подобного учреждения. Так, с течением времени божественность императорского любимца приобретает характер загробного, ночного божества, популярного среди бедняков, не

получившего распространение как культ Митры, но как одно из сильнейших течений обожествленного человека.

Каноник закрыл тетрадку и, посмотрев на Ваню поверх очков, заметил:

– Нравственность языческих императоров нас не касается, мое дитя, но не могу от вас скрыть, что отношение Адриана к Антиною было, конечно, далеко не отеческой любви.

– Отчего вы вздумали писать об Антиное? – равнодушно спрашивал Ваня, думая совсем о другом и не глядя на каноника.

– Я прочитал вам написанное сегодня утром, а я вообще пишу о римских цезарях.

Ване стало смешно, что каноник пишет о жизни Тиберия на Капри, и он, не удержавшись, спросил:

– Вы писали и о Тиберии, *cher père*?

– Несомненно.

– И об его жизни на Капри, помните, как она описана у Светония?

Мори, задетый, с жаром заговорил:

– Ужасно, вы правы, друг мой! Это ужасно, и из этого падения, из этой клоаки, только христианство, святое учение, могло вывести человеческий род!

– К императору Адриану вы относитесь более сдержанно?

– Это большая разница, друг мой, здесь есть нечто возвышенное, хотя, конечно, это страшное заблуждение чувств, бороться с которым не всегда могли даже люди, просвещенные крещением.

– Но, в сущности, в каждый данный момент не одно ли это и то же?

– Вы в страшном заблуждении, мой сын. В каждом поступке важно отношение к нему, его цель, а также причины, его породившие; самые поступки суть механические движения нашего тела, неспособные оскорбить никого, тем более Господа Бога. – И он снова открыл тетрадку на месте, заложенном его толстым большим пальцем.

Они шли по крайней правой дороге Caseine, где сквозь Деревья виднелись луга с фермами и за ними невысокие горы; миновав ресторан, пустынный в это время дня, они подвигались по все более принимавшей сельский вид местности. Сторожа со светлыми пуговицами изредка сидели на скамейках, и вдали бегали мальчики в рясах под надзором толстого аббата.

– Я вам так благодарен, что вы согласились прийти сюда, – говорил Штруп, садясь на скамью.

– Если мы будем говорить, то лучше ходя, так я скорее понимаю, – заметил Ваня.

– Отлично.

И они стали ходить, то останавливаясь, то снова двигаясь между деревьями.

– За что же вы лишили меня вашей дружбы, вашего расположения? Вы подозревали меня виновным в смерти Иды Гольберг?

– Нет.

– За что же? Ответьте откровенно.

– Отвечу откровенно: за вашу историю с Федором.

– Вы думаете?

– Я знаю то, что есть, и вы не будете же отпираться.

– Конечно.

– Теперь, может быть, я отнесся бы совсем иначе, но тогда я многого не знал, ни о чем не думал, и мне было очень тяжело, потому что, признаюсь, мне казалось, что я вас теряю безвозвратно и вместе с вами всякий путь к красоте жизни.

Они, сделавши круг вокруг лужайки, опять шли по той же дорожке, и дети вдали, играя мячом, громко, но далеко смеялись.

- Завтра я должен ехать, в таком случае, в Бари, но я могу остаться; это зависит теперь от вас: если будет "нет", напишите – "поезжайте": если – "да" – "оставайтесь".
- Какое "нет", какое "да"? – спрашивал Ваня.
- Вы хотите, чтобы я вам сказал словами?
- Нет, нет, не надо, я понимаю; только зачем это?
- Теперь это так стало необходимым. Я буду ждать до часу.
- Я отвечу во всяком случае.
- Еще одно усилие, и у вас вырастут крылья, я их уже вижу.
- Может быть, только это очень тяжело, когда они растут, – молвил Ваня, усмехаясь.

Они поздно засиделись на балконе, и Ваня с удивлением замечал, что он внимательно и беспечно слушает Уго, будто не завтра ему нужно было давать ответ Штрупу. Была какая-то приятность в этой неопределенности положения, чувств, отношений, какая-то легкость и безнадежность. Уго с жаром продолжал:

– Она еще не имеет названия. Первая картина: серое море, скалы, зовущее вдаль золотистое небо, аргонавты в поисках золотого руна, – все, пугающее в своей новизне и небывалости и где вдруг узнаешь древнейшую любовь и отчизну. Второе – Прометей, прикованный и наказанный: "Никто не может безнаказанно прозреть тайны природы, не нарушая ее законов, и только отцеубийца и кровосмеситель отгадает загадку Сфинкса!" Является Пазифая, слепая от страсти к быку, ужасная и пророческая: "Я не вижу ни пестроты нестройной жизни, ни стройной жизни, ни стройности вещей сновидений". Все в ужасе. Тогда третье: на блаженных лужайках сцены из "Метаморфоз", где боги принимали всякий вид для любви, падает Икар, падает фэтон, Ганимед говорит: "Бедные братья, только я из взлетевших на небо остался там, потому что вас влекли к солнцу гордость и детские игрушки, а меня взяла шумящая любовь, непостижимая смертным". Цветы, пророчески огромные, огненные, зацветают; птицы и животные ходят попарно и в трепещущем розовом тумане виднеются из индийских "manuels érotiques" 48 образцов человеческих соединений. И все начинает вращаться двойным вращением, каждое в своей сфере, и все большим кругом, все быстрее и быстрее, пока все очертания не сольются и вся движущаяся масса не оформливается и не замирает в стоящей над сверкающим морем и безлесными, желтыми и под нестерпимым солнцем скалами огромной лучезарной фигуре Зевса-Диониса-Гелиоса!

Он встал, после бессонной ночи, измученный и с головной болью, и, нарочно медленно одевшись и умывшись, не открывая жалюзи, у стола, где стоял стакан с цветами, написал, не торопясь: "Уезжайте"; подумав, он с тем же, еще не вполне проснувшимся лицом приписал: "Я еду с вами" и открыл окно на улицу, залитую ярким солнцем.

## Исаак Бабель. ИСТОРИЯ МОЕЙ ГОЛУБЯТНИ

*М. Горькому*

В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было девять лет, когда отец посулил дать денег на покупку тесу и трех пар голубей. Тогда шел тысяча девятьсот четвертый год. Я готовился к экзаменам в подготовительный класс Николаевской гимназии. Родные мои жили в городе Николаеве, Херсонской губернии. Этой губернии больше нет, наш город отошел к Одесскому району.

Мне было всего девять лет, и я боялся экзаменов. По обоим предметам – по русскому и по арифметике – мне нельзя было получить меньше пяти. Процентная норма была трудна в нашей гимназии, всего пять процентов. Из сорока мальчиков только два еврея могли поступить в подготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро; никого не спрашивали так замысловато, как нас. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал двух пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня, я впал в нескончаемый сон наяву, в длинный, детский сон отчаяния, и пошел на экзамен в этом сне и все же выдержал лучше других.

Я был способен к наукам. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил две пятерки. Но потом все изменилось. Харитон Эфрусси, торговец хлебом, экспортировавший пшеницу в Марсель, дал за своего сына взятку в пятьсот рублей, мне поставили пять с минусом вместо пяти, и в гимназию на мое место приняли маленького Эфрусси. Отец очень убивался тогда. С шести лет он обучал меня всем наукам, каким только можно было. Случай с минусом привел его в отчаяние. Он хотел побить Эфрусси или подкупить двух грузчиков, чтобы они побили Эфрусси, но мать отговорила его, и я стал готовиться к другому экзамену, в будущем году, в первый класс. Родные тайком от меня подбили учителя, чтобы он в один год прошел со мною курс подготовительного и первого классов сразу, и так как мы во всем отчаивались, то я выучил наизусть три книги. Эти книги были: грамматика Смирновского, задачник Евтушевского и учебник начальной русской истории Пуцыковича. По этим книгам дети не учатся больше, но я выучил их наизусть, от строки до строки, и в следующем году на экзамене из русского языка получил у учителя Караваева недостижимые пять с крестом.

Караваев этот был румяный негодующий человек из московских студентов. Ему едва ли исполнилось тридцать лет. На мужественных его щеках цвел румянец, как у крестьянских ребят, сидела бородавка у него на щеке, из нее рос пучок пепельных кошачьих волос. Кроме Караваева, на экзамене был еще помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии. Помощник попечителя спросил меня о Петре Первом, я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом и отчаянием.

О Петре Великом я знал наизусть из книжки Пуцыковича и стихов Пушкина. Я навзрыд сказал эти стихи, человечьи лица покатались вдруг в мои глаза и перемешались там, как карты из новой колоды. Они тасовались на дне моих глаз, и в эти мгновения, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго, никто не прерывал безумного моего бормотанья. Сквозь багровую слепоту, сквозь свободу, овладевшую мною, я видел только старое, склоненное лицо Пятницкого с посеребренной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваеву, радовавшемуся за меня и за Пушкина.

– Какая нация, – прошептал старик, – жидки ваши, в них дьявол сидит.

И когда я замолчал, он сказал:

– Хорошо, ступай, мой дружок...

Я вышел из класса в коридор и там, прислонившись к небеленой стене, стал просыпаться от судороги моих снов. Русские мальчики играли вокруг меня, гимназический

колокол висел неподалеку под пролетом казенной лестницы, сторож дремал на продавленном стуле. Я смотрел на сторожа и просыпался. Дети подбирались ко мне со всех сторон. Они хотели щелкнуть меня или просто поиграть, но в коридоре показался вдруг Пятницкий. Миновав меня, он приостановился на мгновение, сюртук трудной медленной волной пошел по его спине. Я увидел смятение на просторной этой, мясистой, барской спине и двинулся к старику.

– Дети, – сказал он гимназистам, – не трогайте этого мальчика, – и положил жирную, нежную руку на мое плечо.

– Дружок мой, – обернулся Пятницкий, – передай отцу, что ты принят в первый класс.

Пышная звезда блеснула у него на груди, ордена зазвенели у лацкана, большое черное мундирное его тело стало уходить на прямых ногах. Оно стиснуто было сумрачными стенами, оно двигалось в них, как движется барка в глубоком канале, и исчезло в дверях директорского кабинета. Маленький служитель понес ему чай с торжественным шумом, а я побежал домой, в лавку.

В лавке нашей, полон сомнения, сидел и скребся мужик-покупатель. Увидев меня, отец бросил мужика и, не колеблясь, поверил моему рассказу. Он закричал приказчику закрывать лавку и бросился на Соборную улицу покупать мне шапку с гербом. Бедная мать едва отодрала меня от помешавшегося этого человека. Мать была бледна в ту минуту и испытывала судьбу. Она гладила меня и с отвращением отталкивала. Она сказала, что о всех принятых в гимназию бывает объявление в газетах и что бог нас покарает и люди над нами посмеются, если мы купим форменную одежду раньше времени. Мать была бледна, она испытывала судьбу в моих глазах и смотрела на меня с горькой жалостью, как на калечку, потому что одна она знала, как несчастлива наша семья.

Все мужчины в нашем роду были доверчивы к людям и скоры на необдуманные поступки, нам ни в чем не было счастья. Мой дед был раввином когда-то в Белой Церкви, его прогнали оттуда за кощунство, и он с шумом и скудно прожил еще сорок лет, изучал иностранные языки и стал сходить с ума на восьмидесятом году жизни. Дядька мой Лев, брат отца, учился в Воложинском ешиботе, в 1892 году он бежал от солдатчины и похитил дочь интенданта, служившего в Киевском военном округе. Дядька Лев увез эту женщину в Калифорнию, в Лос-Анжелос, бросил ее там и умер в дурном доме, среди негров и малайцев. Американская полиция прислала нам после смерти наследство из Лос-Анжелоса – большой сундук, окованный коричневыми железными обручами. В этом сундуке были гири от гимнастики, пряди женских волос, дедовский талес, хлысты с золочеными набалдашниками и цветочный чай в шкатулках, отделанных дешевыми жемчугами. Из всей семьи оставались только безумный дядя Симон, живший в Одессе, мой отец и я. Но отец мой был доверчивый к людям, он обижал их восторгами первой любви, люди не прощали ему этого и обманывали. Отец верил поэтому, что жизнью его управляет злобная судьба, необъяснимое существо, преследующее его и во всем на него не похожее. И вот только один я оставался у моей матери изо всей нашей семьи. Как все евреи, я был мал ростом, хил и страдал от ученья головными болями. Все это видела моя мать, которая никогда не бывала ослеплена нищенской гордостью своего мужа и непонятной его верой в то, что семья наша станет когда-либо сильнее и богаче других людей на земле. Она не ждала для нас удачи, боялась купить форменную блузу раньше времени и только позволила мне сняться у фотографа для большого портрета.

Двадцатого сентября тысяча девятьсот пятого года в гимназии вывешен был список поступивших в первый класс. В таблице упоминалось и мое имя. Вся родня наша ходила смотреть на эту бумажку, и даже Шойл, мой двоюродный дед, пришел в гимназию. Я любил хвастливого этого старика за то, что он торговал рыбой на рынке. Толстые его руки были влажны, покрыты рыбьей чешуей и воняли холодными прекрасными мирами.

Шойл отличался от обыкновенных людей еще и лживыми историями, которые он рассказывал о польском восстании 1861 года. В давние времена Шойл был корчмарем в Сквире; он видел, как солдаты Николая Первого расстреливали графа Годлевского и других польских инсургентов. Может быть, он и не видел этого. Теперь-то я знаю, что Шойл был всего только старый неуч и наивный лгун, но побасенки его не забыты, они были хороши. И вот даже глупый Шойл пришел в гимназию прочитывать таблицу с моим именем и вечером плясал и топал на нашем нищем балу.

Отец устроил бал на радостях и позвал товарищей своих – торговцев зерном, маклеров по продаже имений и вояжеров, продававших в нашей округе сельскохозяйственные машины. Вояжеры эти продавали машины всякому человеку. Мужики и помещики боялись их, от них нельзя было отделаться, не купив чего-нибудь. Из всех евреев вояжеры самые бывалые, веселые люди. На нашем вечере они пели хасидские песни, состоявшие всего из трех слов, но певшиеся очень долго, со множеством смешных интонаций. Прелесть этих интонаций может узнать только тот, кому приходилось встречать пасху у хасидов или кто бывал на Волини в их шумных синагогах. Кроме вояжеров, к нам пришел старый Либерман, обучавший меня торе и древнееврейскому языку. Его называли у нас мосье Либерман. Он выпил бессарабского вина поболее, чем ему было надо, шелковые традиционные шнурки вылезли из-под красной его жилетки, и он произнес на древнееврейском языке тост в мою честь. Старик поздравил родителей в этом тосте и сказал, что я победил на экзамене всех врагов моих, я победил русских мальчиков с толстыми щеками и сыновей грубых наших богачей. Так в древние времена Давид, царь иудейский, победил Голиафа, и подобно тому как я восторжествовал над Голиафом, так народ наш силой своего ума победит врагов, окруживших нас и ждущих нашей крови. Мосье Либерман заплакал, сказав это, плача, выпил еще вина и закричал: "виват!" Гости взяли его в круг и стали водить с ним старинную кадрили, как на свадьбе в еврейском местечке. Все были веселы на нашем балу, даже мать пригубила вина, хоть она и не любила водки и не понимала, как можно ее любить; всех русских она считала поэтому сумасшедшими и не понимала, как живут женщины с русскими мужьями.

Но счастливые наши дни наступили позже. Они наступили для матери тогда, когда по утрам до ухода в гимназию она стала готовить для меня бутерброды, когда мы ходили по лавкам и покупали елочное мое хозяйство – пенал, копилку, ранец, новые книги в картонных переплетах и тетради в гляцевых обертках. Никто в мире не чувствует новых вещей сильнее, чем дети. Дети содрогаются от этого запаха, как собака от заячьего следа, и испытывают безумие, которое потом, когда мы становимся взрослыми, называется вдохновением. И это чистое детское чувство собственности над новыми вещами передавалось матери. Мы месяц привыкали к пеналу и к утреннему сумраку, когда я пил чай на краю большого освещенного стола и собирал книги в ранец; мы месяц привыкали к счастливой нашей жизни, и только после первой четверти я вспомнил о голубях.

У меня все было припасено для них – рубль пятьдесят копеек и голубятня, сделанная из ящика дедом Шойлом. Голубятня была выкрашена в коричневую краску. Она имела гнезда для двенадцати пар голубей, разные планочки на крыше и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков. Все было готово. В воскресенье двадцатого октября и собрался на Охотницкую, но на пути стали неожиданные препятствия.

История, о которой я рассказываю, то есть поступление мое в первый класс гимназии, происходила осенью тысяча девятьсот пятого года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу, ораторы в худых пальто взгромождались на тумбы у здания городской думы и говорили речи народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на Охотницкую. С утра в день двадцатого октября соседские мальчики пускали змей против самого полицейского участка, и водовоз наш, забросив все дела, ходил по улице напомаженный, с красным лицом. Потом мы увидели, как сыновья булочника

Калистова вытащили на улицу кожаную кобылу и стали делать гимнастику посреди мостовой. Им никто не мешал, городской Семерников подзадоривал их даже прыгать повыше. Семерников был подпоясан шелковым домотканым пояском, и сапоги его были начищены в тот день так блестяще, как не бывали они начищены раньше. Городовой, одетый не по форме, больше всего испугал мою мать, из-за него она не отпускала меня, но я пробрался на улицу задворками и добежал до Охотницкой, помещавшейся у нас за вокзалом.

На Охотницкой, на постоянном своем месте, сидел Иван Никодимыч, голубятник. Кроме голубей, он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распустив хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бесстрастной головкой. Лапа его была обвязана крученой веревкой, другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетеным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось сорок копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдать голубя и голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. Сорок копеек была им верная цена, но охотник дорожил и отворачивал от меня желтое лицо, сожженное нелюдимыми страстями птицелова. К концу торга, видя, что не находится других покупателей, Иван Никодимыч позвал меня. Все вышло по-моему, и все вышло худо.

В двенадцатом часу дня или немногим позже по площади прошел человек в валеных сапогах. Он легко шел на раздутых ногах, в его истертом лице горели оживленные глаза.

– Иван Никодимыч, – сказал он, проходя мимо охотника, – складайте инструмент, в городе иерусалимские дворяне конституцию получают. На Рыбной бабелевского деда насмерть угостили.

Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже.

– Напрасно, – пробормотал Иван Никодимыч ему вслед, – напрасно, – закричал он строже и стал собирать кроликов и павлина и сунул мне крюковских голубей за сорок копеек. Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с Охотницкой. Павлин на плече Ивана Никодимыча уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем небе, он сидел, как сидит июль на розовом берегу реки, раскаленный июль в длинной холодной траве. На рынке никого уже не было, и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся в моих глазах, и влетел в пустынный переулок, утопанный желтой землей. В конце переулочка на креслице с колесиками сидел безногий Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы с лотка. Мальчишки с нашей улицы покупали у него папиросы, дети любили его, я бросился к нему в переулок.

– Макаренко, – сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо безногого, – не видал ты Шойла?

Калека не ответил, грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков, из железа, просвечивало. Он в волнении ерзал на креслице, жена его, Катюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валявшиеся на земле.

– Чего насчитала? – спросил безногий и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему наперед невыносим был ее ответ.

– Камашей четырнадцать штук, – сказала Катюша, не разгибаясь, – пододеяльников шесть, теперь чепцы рассчитываю...

– Чепцы, – закричал Макаренко, задохся и сделал такой звук, как будто он рыдает, – видно, меня, Катерина, бог сыскал, что я за всех ответить должен... Люди полотно целыми штуками носят, у людей все, как у людей, а у нас чепцы...

И в самом деле по переулочку пробежала женщина с распалившимся красивым лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. Счастливым отчаянным голосом сзывала она потерявшихся детей; шелковое платье и голубая кофта волочились за

летающим ее телом, и она не слушала Макаренко, катившего за ней на кресле. Безногий не поспевал за ней, колеса его гремели, он изо всех сил вертел рычажки.

– Мадамочка, – оглушительно кричал он, – где брали сарпинку, мадамочка?

Но женщины с летающим платьем уже не было. Ей навстречу из-за угла выскочила вихлявая телега. Крестьянский парень стоял стоймя в телеге.

– Куда люди побегли? – спросил парень и поднял красную вожжу над клячами, прыгавшими в хомутах.

– Люди все на Соборной, – умоляюще сказал Макаренко, – там все люди, душа-человек; чего наберешь, – все мне тащи, все покупаю...

Парень изогнулся над передком, хлестнул по пегим клячам. Лошади, как телята, прыгнули грязными своими крупами и пустились вскачь. Желтый переулочек снова остался желт и пустынен; тогда безногий перевел на меня погасшие глаза.

– Меня, што ль, бог сыскал, – сказал он безжизненно, – я вам, штоль, сын человеческий...

И Макаренко протянул мне руку, запятнанную проказой.

– Чего у тебя в торбе? – сказал он и взял мешок, согревший мое сердце.

Толстой рукой калека растормошил турманов и вытащил на свет голубку. Запрокинув лапки, птица лежала у него на ладони.

– Голуби, – сказал Макаренко и, скрипя колесами, подъехал ко мне, – голуби, – повторил он и ударил меня по щеке.

Он ударил меня наотмашь ладонью, сжимавшей птицу. Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, и я упал на землю в новой шинели.

– Семя ихнее разорить надо, – сказала тогда Катюша и разогнулась над чепцами, – семя ихнее я не могу навидеть и мужчин их вонючих...

Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Камешек лежал перед глазами, камешек, выщербленный, как лицо старухи с большой челюстью, обрывок бечевки валялся неподалеку и пучок перьев, еще дышавших. Мир мой был мал и ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте. Утоптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь и на ожидание экзаменов в нашей жизни. Где-то далеко по ней ездил беда на большой лошади, но шум копыт слабел, пропадал, и тишина, горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастье, истребила вдруг границу между моим телом и никуда не двигавшейся землей. Земля пахла сырыми недрами, могилой, цветами. Я услышал ее запах и заплакал без всякого страха. Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками, шел в убранстве окровавленных перьев, один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь. Побелевшие провода гудели над головой, дворняжка бежала впереди, в переулке сбоку молодой мужик в жилете разбивал раму в доме Харитона Эфрусси. Он разбивал ее деревянным молотом, замахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны доброй улыбкой опьянения, пота и душевной силы. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетающегося дерева. Мужик бил только затем, чтобы перегибаться, запотевать и кричать необыкновенные слова на неведомом, нерусском языке. Он кричал их и пел, раздирал изнутри голубые глаза, пока на улице не показался крестный ход, шедший от думы. Старики с крашеными бородами несли в руках портрет расчесанного царя, хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом, воспламененные старухи летели вперед. Мужик в жилетке, увидев шествие, прижал молоток к груди и побежал за хоругвями, а я, выждав конец процессии, пробрался к нашему дому. Он

был пуст. Белые двери его были раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма не ушел со двора. Кузьма, дворник, сидел в сарае и убирал мертвого Шойла.

– Ветер тебя носит, как дурную щепку, – сказал старик, увидев меня, – убег на целые веки... Тут народ деда нашего, вишь, как тюкнул...

Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов судака. Их было два судака всунуты в деда: один в прореху штанов, другой в рот, и хоть дед был мертв, но один судак жил еще и содрогался.

– Деда нашего тюкнули, никого больше, – сказал Кузьма, выбрасывая судаков кошке, – он весь народ из матери в мать погнал, изматерил дочиста, такой славный... Ты бы ему пятак на глаза нанес...

Но тогда, десяти лет от роду, я не знал, зачем бывают надобны пятаки мертвым людям.

– Кузьма, – сказал я шепотом, – спаси нас...

И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из-за этой спины. Шойл лежал в опилках с раздавленной грудью, с вздернутой бородой, в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязны, лиловы, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них, он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал, как будто у него в дому была обновка, и остыл, только расчесав бороду мертвецу.

– Всех изматерил, – сказал он, улыбаясь, и оглянул труп с любовью, – кабы ему татары попались, он татар погнал бы, но тут русские подошли, и женщины с ними, кацапки, кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю...

Дворник подсыпал покойнику опилок, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку.

– Идем к отцу, – пробормотал он, сжимая меня все крепче, – отец твой с утра тебя ищет, как бы не помер...

И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома.

## РАББИ

– ...Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминание, которое никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан, безмерный океан питает реки, пересекающие вселенную...

Слова эти принадлежали Гедали. Он произнес их с важностью. Угасающий вечер окружал его розовым дымом своей печали. Старик сказал:

– В страстном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери... С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке ветров истории.

Так сказал Гедали и, помолившись в синагоге, он повел меня к рабби Моталэ, к последнему рабби из Чернобыльской династии.

Мы поднялись с Гедали вверх по главной улице. Белые костелы блеснули вдали, как гречишные поля. Орудийное колесо простонало за углом. Две беременные хохлушки вышли из ворот, зазвенели монистами и сели на скамью. Робкая звезда зажглась в оранжевых боях заката, и покой, субботний покой, сел на кривые крыши житомирского гетто.

– Здесь, – прошептал Гедали и указал мне на длинный дом с разбитым фронтоном.

Мы вошли в комнату – каменную и пустую, как морг. Рабби Моталэ сидел у стола, окруженный бесноватыми и лжецами. На нем была соболья шапка и белый халат, стянутый веревкой. Рабби сидел с закрытыми глазами и рылся худыми пальцами в желтом пухе своей бороды.

– Откуда приехал еврей? – спросил он и приподнял веки.

– Из Одессы, – ответил я.

– Благочестивый город, – сказал рабби, – звезда нашего изгнания, невольный колодезь наших бедствий!.. Чем занимается еврей?

– Я перекладываю в стихи похождения Герша из Острополя.

– Великий труд, – прошептал рабби и сомкнул веки. – Шакал стонет, когда он голоден, у каждого глупца хватает глупости для уныния, и только мудрец раздражает смехом завесу бытия... Чему учился еврей?

– Библии.

– Чего ищет еврей?

– Веселья.

– Реб Мордхэ, – сказал цадик и затряс бородой, – пусть молодой человек займет место за столом, пусть он ест в этот субботний вечер вместе с остальными евреями, пусть он радуется тому, что он жив, а не мертв, пусть он хлопает в ладоши, когда его соседи танцуют, пусть он пьет вино, если ему дадут вина...

И ко мне подскочил реб Мордхэ, давнишний шут с вывороченными веками, горбатый старикашка, ростом не выше десятилетнего мальчика.

– Ах, мой дорогой и такой молодой человек! – сказал оборванный реб Мордхэ и подмигнул мне. – Ах, сколько богатых дураков знал я в Одессе, сколько нищих мудрецов знал я в Одессе! Садитесь же за стол, молодой человек, и пейте вино, которого вам не дадут...

Мы уселись все рядом – бесноватые, лжецы и ротозеи. В углу стонали над молитвенниками плечистые евреи, похожие на рыбаков и на апостолов. Гедали в зеленом сюртуке дремал у стены, как пестрая птичка. И вдруг я увидел юношу за спиной Гедали, юношу с лицом Спинозы, с могущественным лбом Спинозы, с чухлым лицом монахини. Он курил и вздрагивал, как беглец, приведенный в тюрьму после погони. Оборванный Мордхэ подкрался к нему сзади, вырвал папиросу изо рта и отбежал ко мне.

– Это – сын равви, Илья, – прохрипел Мордхэ и придвинул ко мне кровоточащее мясо развороченных век, – проклятый сын, последний сын, непокорный сын...

И Мордхэ погрозил юноше кулачком и плюнул ему в лицо.

– Благословен господь, – раздался тогда голос рабби Моталэ Брацлавского, и он переломил хлеб своими монашескими пальцами, – благословен бог Израиля, избравший нас между всеми народами земли...

Рабби благословил пищу, и мы сели за трапезу. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном. Сын рабби курил одну папиросу за другой среди молчания и молитвы. Когда кончился ужин, я поднялся первый.

– Мой дорогой и такой молодой человек, – забормотал Мордхэ за моей спиной и дернул меня за пояс, – если бы на свете не было никого, кроме злых богачей и нищих бродяг, как жили бы тогда святые люди?

Я дал старику денег и вышел на улицу. Мы расстались с Гедали, я ушел к себе на вокзал. Там, на вокзале, в агитпоезде Первой Конной армии меня ждало сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции, упорный бег машин в типографии и недописанная статья в газету "Красный кавалерист".

## ИВАНОВ Всеволод Вячеславович (1895-1963).

### ДИТЁ

#### I

Монголия – зверь дикий и не радостный. Камень – зверь, вода – зверь, и даже бабочка и та норовит укусить.

А у человека монгольского сердце неизвестно какое – ходит он, говорят, в шкурах, похож на китайца и от русских далеко, через пустыню Нор-Кой стал жить. И, говорят еще, уйдет он за Китай и Индию в синие непознаваемые страны.

Прибыли тут около русских прииртышские те самые киргизы, что от русской войны в Монголию перекочевали. У них сердце известно – слюдяное, никудышное, всего насквозь видно. Шли они сюда не торопились – и скот, и ребяташек, и даже больных своих привезли. Русских же сюда гнали немилосердно – были они мужики крепкие и здоровые. На камнях-горах оставили лишнюю слабость – кто повымер, кто повыбит. Семьи и лопотина, и скотина белым осталась, злобны, как волки весной, были мужики, в логах, в палатках лежали и думали про степи и про Иртыш. Было их с полсотни, председательствовал Сергей Селиванов, а отряд так звался – партизанский отряд красной гвардии товарища Селиванова. Скучали.

Пока гнали их через горы белые – от камня огромного и темного – страшило на сердце, а пришли в степь – скучно. Похожа степь на степь прииртышскую: песок, жесткие травы, крепко кованое небо. Все чужое, не свое, беспашенное, дикое.

И еще тяжело без баб.

О бабах по ночам рассказывали матерные солдатские побаски, а когда становилось непереносно: седлали лошадей, ловили в степи киргизок.

И киргизки, заметив русских, покорно ложились на спину.

Было нехорошо, противно их брать – неподвижных, с плотно закрытыми глазами, словно грешили со скотом.

Киргизы же боялись мужиков, кочевали далеко в степи. Увидев русского – грозилась винтовками и луками, гикали, но не стреляли. Может быть, не умели.

#### II

Казначей отряда, Афанасий Петрович Трубачев – слезлив, как ребенок, и лицо у него, как у ребенка: маленькое, безусое и румяное. Только ноги были длинные, крепкие, как у верблюда.

А когда садился на лошадь – строжал. Далекое пряталось лицо, и сидел: седой, сердитый и страшный.

На Троицу отрядили троих: Селиванова, казначея Афанасия Петровича и Древесинина в степь искать хороших покосов.

Дымились под солнцем пески.

Сверху, с неба, шел ветер, с земли на трепещущее небо тоже теплынь, и тела у людей и животных были жесткие и тяжелые, как камни.

И Селиванов сказал хрипло:

– Каки там покосы-то...

– Все знали, – говорит он про Иртыш.

Молчали редкобородые лица: точно солнцем выжгло волос, как травы в степи, и атели узкие, как рана от рыболовного крючка, глаза.

Один Афанасий Петрович отозвался жалобно:

– Неужто и там засуха...

Плаксивился голосок, но лицо не плакало, и только у лошади под ним, усталой и запыхающейся, ныли слезой большие и сухие глаза.

Так один за другим по пробитым дикими козами тропам уходили партизаны в степь...

...Тлели пески тоскливо, жадно лип на плечи, на голову душный пахнувший песками ветер. Горел в теле пот, но не мог пробиться через сухую кожу наружу...

К вечеру, уже выезжая из лощины, Селиванов сказал, указывая на запад:

– Едут.

Верно: на самой овиди колыхали пески розовую пыль.

– Должно, киргизы.

Заспорили: Древесинин говорил, что киргизы далеко водятся и к Селивановским логам не подходят, а Афанасий Петрович – непременно киргизы, пыль киргизская, густая.

А когда подкатили пески пыль, решили все:

– Незнаемые люди...

По голосам хозяев учуяли лошади – несется по ветру чужое. Запряли ушами, пали на землю до приказа.

В логу серые и желтые лошадиные туши, были они беспомощны и смешны с тонкими, как жерди, ногами. От стыда, что ли, закрыли большие испуганные глаза и дышали порывисто.

Лежали Селиванов и казначей Афанасий Петрович на краю лога. Плакал, пошвыркивая носом, казначей. Чтоб не было страшно, клал его всегда рядом Селиванов – почти до детского плача веселилось и озорничало тяжелое мужицкое сердце.

Развертывала тропа пыль. Перебойно стучали колеса, и, как пыль, клубились в хомутах длинные черные гривы.

Уверенно сказал Селиванов:

– Русски...

И позвал из лога Древесинина.

Сидят в плетеной новой тележке двое в фуражках с красными околышами. За пылью незаметно лиц, будто в желтом клубу плавают краснооколышные, ружье – дуло торчит и когда рука с кнутом ныряет из пыли.

Удумал Древесинин и сказал:

– Офицера... по делам должно. Икспитиция...

Озорной подмигнул глазом и ртом:

– Мы им пропишем...

Несет тележка людей, твердо несет, лошадей подталкивает и позади, как лиса хвостом, замечает след пылью.

Протянул плаксиво Афанасий Петрович:

– Ни надо, ребя... У плен бы лучча...

– Галовы своей не жалко...

Озлился Селиванов и затвор бесшумно, как пуговицу отстегивают, отбросил:

Тут плакать не приходится...

Больше всего злило их – появились офицера в степь одни без конвоя, будто была их тут сила несметная – мужикам смерть.

Вставал в рост офицер, степь оглядывал, но плохо – пыль, ветер вечерний красный на сожженных травах, на двух камнях у лога, похожих на лошадиные туши.

В красной пыли тележка, колеса, люди и мысли их...

Выстрелили...

Разом, задев одна другую, упали фуражки в кузовок.

Ослабли, точно лопнули вожжи...

Рванули лошади... понесли было. Но вдруг холки их молочно опенились. Дрожа крепкими кусками мускулов, они понурили головы, стали.

Сказал Афанасий Петрович:

– Померли...

Подошли мужики, посмотрели.

Померли краснооколышные. Сидят плечо в плечо, а головы назад, как башлыки, откинута, и один из умерших – женщина. Волосы распались, в пыли наполовину – желтые и черные, а гимнастерка солдатская приподнята высоко женской грудью.

– Чудно, – сказал Дровесинин, – сама виновата – не надевай фуражку. Кому бабу убивать охота... бабы нужны.

Плюнул Афанасий Петрович:

– Изверг ты и буржуй... Ничего в тебе...

– Обожди, – прервал их Селиванов, – мы не грабители – надо имущество народное переписать. Давай бумагу.

Под передком среди прочего "народного имущества" в плетеной китайской корзинке белолазенький и белолазенький ребенок и в ручонке у него угол коричневого одеяльца зажат. Грудной, маленький, пищит слегка.

Умиленно сказал Афанасий Петрович:

– Тоже ведь... поди так по-своему говорит, что...

Еще раз пожалели женщину и не стали одежду с нее снимать, а мужчину закопали голого в песок.

### III

Обратно в тележке ехал Афанасий Петрович, держал в руках ребенка и, покачивая, напевал тихонько:

"Соловей, соловей – пташечка...

Канареечка

Жалобно поет..."

Вспоминал он поселок Лебяжий – родину, пригоны со скотом, семью, ребятишек и тонкоголосо плакал. Ребенок тоже плакал.

Бежали и тонкоголосо плакали жидкие сыпучие и спаленные пески. Бежали на низеньких крепкомясных монгольских лошадях партизаны, были они спаленно-лицые и спаленно-душие.

У троп, придушенная солнцем, слалась полынь, похожая на песок, – мелкая и неуловимая глазом.

А пески – полынь, мелкие и горькие.

Тропы вы, тропы козьи. Пески вы, пески горькие. Монголия – зверь дикий и нерадостный...

Разглядели имущество офицерское. Книги, чемодан с табаком, блестящие стальные инструменты. Один из них, на трех длинных ножках – четырехугольный медный ящичек с делениями.

Подошли партизаны, осматривают, щупают, на руку привешивают.

Пахнет от них бараньим жиром – от скуки ели много и одежда высалилась. Скуластые, с мягкими тонкими губами – Донских станиц; с длинным черным волосом, темнолицые – известковых рудников. И у всех кривые, как дуги, ноги и гортанные степные голоса.

Поднял Афанасий Петрович медноголовый треножник, сказал:

– Тилископ.

И глаза зажмурил:

– Хороший тилископ, ни один мишень стоит. На нем луну рассмотрели и нашли на ней, парни, золотые россыпи... Промывать не надо, как мука чистехонькое золото. Сыпь в мешок...

Один молодой из городских захохотал:  
– И что брешет, разъязви ево...  
Рассердился Афанасий Петрович:  
– Это я-то брешу, стерва ты кукурузная. Погоди.  
.....  
Табак поделили, а инструменты передали Афанасию Петровичу, как казначей – может, при случае обменяет он на что-нибудь у киргиз.  
Сложил он инструменты перед ребенком.  
– Забавляйся...  
Не видит тот – пищит. И так и этак пробовал, в пот даже ударило – пищит дите.  
Принесли кашевары обед. Густо запахло маслом, кашей, щами. Вытащили из-за голенища широкие семипалатинские ложки. Вытоптана станом трава. Лог глубокий, тенистый, а наверху часовой на лошади кричит:  
– Мне скоро-а... Жрать хочу... Смену...  
Пообедали и вспомнили – надо ребенка накормить. Пищит непрестанно дите.  
Нажевал Афанасий Петрович хлеба, мокрую жамку сунул в мокрый растопыренный ротишко, а сам губами пошлепал:  
– Ппы-пы... баско... лопай, лешаненок...  
Но закрыл он ротишко и голову отворотил – не принимает. Плачет носом.  
Подошли мужики, обступили. Через головы заглядывают на дите. Молчат.  
Жарко. Лоснятся от баранины скулы и губы. Рубахи расстегнуты, ноги босые, желтые, как земля монгольская.  
Один предложил: штей бы ему.  
Остудили щей. Обмакнул Афанасий Петрович палец в щи и в рот ребенку. Текут по губешкам соевым хорошие щи на рубашку розовую, на байковое одеяло.  
Не принимает.  
– Щенок умней – с пальца жрет...  
– То тебе собака, то человек...  
– Удумал...  
Молока коровьего в отряде нет. Думали кобыльим напоить, кобылицы водились. Нельзя – опьяняет кумыс. Захворать может.  
Разошлись среди телег, по кучкам переговаривают, обеспокоены. А среди телег Афанасий Петрович мечется, на плечах бешметишко рваный, глаза маленькие, тоже рваные. Голосок тоненький, беспокойный, ребяческий, будто само дите бегаёт, жалуется.  
– Как же выходит... Не ест ведь, мужики... Надо ведь, а...  
Стояли широкие, могучетелые с беспомощным взглядом.  
– Дело бабье...  
– Канешна...  
– От бабы он, может, и барана съел бы...  
– Вот ведь оно...  
Собрал Селиванов сход и объявил:  
– Нельзя хрисьянскому пареньку, как животине, пропадать. Отец-то, скажем, буржуй, а дите – как.  
Согласились мужики:  
– Дите ни при чем.  
Захохотал Древесинин:  
– Расти, ребя. Он вырастет у нас – на луну полетит... На россыпи.  
Не рассмеялись мужики. Афанасий Петрович кулак поднял и крикнул:  
– А и сука же ты беспросветная.  
Потоптался он, руками помотал и вдруг закричал пронзительно:

– Корову... Надо корову ему...

В один голос отозвались:

– Без коровы смерть...

– Обязательно корову...

– Без коровы сгорит.

Решительно сказал Афанасий Петрович:

– Пойду я, парни, за коровами...

Озорной Дровесинин перебил:

– На Иртыш, в Лебяжий...

– На Иртыш мне, чичилибуха прописная, ехать незачем. Поеду я к киргизам.

– На тилископ менять.

Метнулся к нему Афанасий Петрович; озлобленно вопил:

– Стерва ты и провокатор рода человеческава, сволочь. Хошь по харе получить?

А так как начали они материться не по порядку, – перервал председатель собрания Селиванов:

– Будя...

И проголосовали так: Дровесинину, Афанасию Петровичу и еще трем ехать к аулам киргизским, в степь, и пригнать корову. Если удастся – две или пять – мясо у кашеваров истощалось.

Подвесили к седлам винтовки, надели киргизские лисьи малахай, чтоб издали на киргиз походить.

– С богом.

Ребенка в одеяльце завернули и в затылок под телегу положили. Сидел подле него молодой паренек и для своего и ребячьего развлечения в полынный куст из нагана постреливал.

#### IV

Эх, пески вы монгольские, нерадостные. Эх, камень – горюнь синий, реки глубокоземные, злые.

Едут русские песками. Ночь.

Пахнут пески жаром, полынью.

Лают в ауле собаки на волка, на тьму.

Волки воют во тьме на город, на смерть.

От смерти бежали киргизы.

– От смерти угоним ли гурты?

Зеленая, душная тьма дрожит над песками, еле удерживают ее пески, вот сорвется и порхнет на запад.

Пахнет от аула кизяком, айраном – молоком кислым. Сидят у желтых костров худые и голодные киргизские ребяташки. Возле ребяташек голорезные, остромордые собаки. Юрты, как стога сена. За юртами озеро, камыши.

Из камышей выстрелили в желтые костры:

– О-о-а-ат...

Сразу выскочили из кошменных юрт киргизы. Закричали напуганно, сначала один, потом разом:

– Уй-бой... Уй-бой..., ак-кызил урус... Уй-бой...

Пали на лошадей, и лошади точно день и ночь заузданы. Затопали юрты, затопала степь. Камыши закричали дикой уткой:

– Ак... Ак...

Один только седобородый свалился с лошади головой в казан-котел, опрокинул котел и, ошпаренный, завопил густым голосом. А подле стояла, поджав хвост, лохматая собака и боязливо тыкала голодную морду в горячее молоко.

Точно ржали кобылицы. Испуганно, как от волков, бились в загоне овцы. Тяжело, точно запыхавшись, дышали коровы.

Покорные киргизки, увидев русских, покорно ложились на кошмы.

Хохотал беспутно Дровесинин:

– Да мы жеребцы, что ли... Не вечно мы их...

Торопливо нацедил он в плоскую австрийскую фляжку молока и, хлопая ногой, подогнал к юрте коров с телятами. Освобожденные от привязи телята, быстро толкая головой мягкое вымя, радостно хватили большими, мягкими губами сосцы:

– Ишь, голодны, бичера...

И Дровесинин погнал коров.

Афанасий Петрович еще обежал аул и хотел было поехать, но вдруг вспомнил:

– Соску надо. Черти, соску забыли...

Кинулся по юртам искать соску. Огни в юртах были потушены. Афанасий Петрович схватил головню и, брызгая искрами, кашляя от дыма, искал соску.

В одной руке у него трещала головня, в другой был револьвер.

Сосок не находилось. Лежали на кошмах, распластавшись и закрывшись чувлуками, покорные киргизки. Ревели ребяташки.

Рассердился Афанасий Петрович и в одной юрте закричал молодой киргизке:

– Соску, сволочь немакана, давай соску.

Заплакала киргизка и начала поспешно расстегивать фаевый кафтан, а потом рубаху.

– Ни кирек... Ал... Ал...

А рядом на кошме плакал завернутый в тряпки ребенок. Киргизка подгибала ноги.

– Ал... Ал...

Но тут схватился за грудь ее Афанасий Петрович, потискал и свистнул обрадованно:

– Во-о... Соска-то. А.

– Ни кирек... Ни...

– Ладно, не крякай. Айда.

И за руку потащил ее за собой.

Головня упала – в юрте потемнело.

В темноте посадил на седло киргизку и время от времени, пощупывая у ней на груди, понесся в Селивановские лога.

– Нашел, паре, а, – обрадованно говорил он, и на глазах у него были слезы.

– Я, брат, найду...

## V

А в стане оказалось – в темноте не заметил Афанасий Петрович – захватила с собой киргизка ребеночка.

– Пущай, – сказали мужики, – молока и на обеих хватит. Коровы есть, а она баба здоровая.

Была молчалива и строга киргизка и ребят всем невидимо кормила. Лежали они у ней на кошме в палатке – один беленький, другой желтенький – и пищали в голос.

Только через неделю так на общем собрании Афанасий Петрович сказал:

– Так что утайка, товарищи: киргизка-то, паскуда, кормит абманом – своему-то всю грудь скармливает, а нашему, что ни на доньшке. Я, брат, подсмотрел.

Пошли мужики, смотрят: ребята, как и все ребята, один беленький, другой желтенький как спелая дыня. Но только похоже, что русский потоньше киргизского.

Развел руками Афанасий Петрович:

– Я ему имя дал – Васька... а тут поди ты... Оказия.  
Сказал Древесинин:  
– А ты, Васька, хилай.  
Нашли палку, измерили ее на оглобле, чтоб одна другую сторону не перетягивала.  
Подвесили с концов ребятишек – который перевесит.  
Пищали в тряпочках подвешенные на волосяных арканах ребятишки. Пахло от них тонким ребячьим духом. Стояла у телеги киргизка и, не понимая ничего, плакала.  
Молчат мужики, смотрят.  
– Пущай, – сказал Селиванов.  
Отпустил руки от палки Афанасий Петрович, и сразу русский мальчонка – кверху.  
– Ишь, сволочь желторотая, – сказал Афанасий Петрович разозленно. – Обожрался.  
Поднял валявшийся сухой бараний череп и положил на русского. Уравнялись ребята.  
Зашумели мужики, закричали:  
– На целу голову, паре, перекормила, а...  
– Не уследишь...  
– Вот зверь...  
– Не только работы, что за ребятами следить.  
Подтвердили мужики:  
– Где уследишь.  
– Опять же, родительница...  
Затопал, завизжал Афанасий Петрович:  
– По-твоему – русскому человеку пропадать там из-за какова-то немаканова...  
Пропадать, Ваське-то...  
Посмотрели на Ваську – лежит белый, худенький.  
Муторно стало мужикам.  
Сказал Селиванов Афанасию Петровичу:  
– А ты его... тово... пущай, бог с ним, умрет... киргизенка-то. Мало их перебили, к одному...  
Поглядели мужики на Ваську и разошлись молча.  
Взял киргизенка Афанасий Петрович, завернул в рваный мешок.  
Завыла мать. Ударил ее слегка в зубы Афанасий Петрович и пошел из лога в степь...

## VI

Дня через два стояли мужики у входа в палатку на цыпочках и через плечи заглядывали во внутрь, где на кошме киргизка кормила белое дите.  
Было у киргизки покорное лицо с узкими, как зерна овса, глазами, фиасвый фиолетовый кафтан и сафьяновые ичиги.  
Било дите личиком в грудь, сучило ручонками по кафтану, а ноги бились смешно и неуклюже, точно он прыгал.  
Могуче хохоча, глядели мужики.  
Нежно глядел Афанасий Петрович и, швырнув носом, плаксиво говорил:  
– Ишь, кроет...  
А за холщевой палаткой бежали неизвестно куда лога, степь, чужая Монголия.  
Незнакомо куда бежала Монголия – зверь дикий и не радостный.